

Альберт Швейцер



ЧЕТЫРЕ РЕЧИ О ГЁТЕ

Издательство имени Н. И. Новикова

*G*oetheana

Goethe

Vier Reden

von Albert Schweitzer

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung

München 1950

АЛЬБЕРТ ШВЕЙЦЕР

ЧЕТЫРЕ РЕЧИ О ГЁТЕ

**Перевод с немецкого
Л. С. Горбовицкой**



Санкт-Петербург
Издательство имени Н. И. Новикова
2005

Редактор *Е. В. Козловская*

Стихотворные цитаты взяты из переводов: Д. Г. Бродского и В. А. Бугаевского (с. 61 (1)); И. М. Дьяконова (с. 102); В. И. Иванова (с. 46 (1) с изменениями, 104 (1), 110); В. Л. Левика (с. 46 (2)); М. Р. (с. 45, 49 (1), 61 (2), 74, 93 (2), 104 (2, 3), 106, 107 (2, 3), 118, 120); Б. Л. Пастернака (с. 34, 43); А. А. Сидорова (с. 117); Н. А. Холодковского (с. 23, 93 (1)); С. В. Шервинского (с. 49 (2), 107 (1)).

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Немецкого культурного
центра имени Гёте
Интер Национес

ISBN 5-87991-065-2

© Л. С. Горбовицкая, перевод, 2005

© Издательство имени Н. И. Новикова, 2005

Эльзасский теолог, музыкант, врач, социальный мыслитель *Альберт Швейцер* (1875—1965) известен русскому читателю как автор фундаментальной монографии о Бахе, книг «Упадок и возрождение культуры. Культура и этика», «Мистика апостола Павла», «Письма из Ламбарене».

Обращение Швейцера к Гёте вызвано не просто интересом к творчеству великого писателя, но осознанием своей глубокой внутренней связи с ним. В условиях кризиса культуры и этических ценностей Швейцер пытается удержать гуманистический идеал, усматривая его спасение в индивидуализации, в придании ему личностного характера — при условии, что личность стремится к самосовершенствованию. основополагающее в этом смысле значение Гёте состоит в том, что, «обтесывая грубый камень» своей души, он достигает вершин человечности. Великий пример Гёте позволяет сказать: внутреннее совершенство и доброта по отношению к другим — два неразрывных устремления истинного гуманизма, а вовсе не взаимоисключающие качества, как утверждают модные теории XX века; стать самим собой и значит стать добрым. Отметая мифы о далеком от жизни олимпийце, Швейцер обращает особое внимание на такие черты личности Гёте, как живая деятельная любовь, дух смирения, побуждающий к практической жизни, единство мыслей и бытия, сохраненная до глубокой старости чуткость к запросам своей эпохи. Стремиться к подлинной человечности; не идти ни на какие компромиссы; всегда оставаться самим собой, — таким ему видится завет Гёте. — *М. Р.*

**Речь, произнесенная
28 августа 1928 года
при получении премии имени Гёте,
учрежденной городом
Франкфуртом-на-Майне**

Позвольте мне, как первому лауреату, присутствующему при вручении ему премии имени Гёте, поблагодарить город Франкфурт-на-Майне за благородную идею отмечать присуждением этой награды дела и мысли современников, за то, что он признает их заслуги публично, как и подобает духовным наследникам Гёте.

Вы, высокочтимые члены Попечительского совета, избрали в этом году меня. Ваш выбор явился для меня большой неожиданностью и большой радостью. Я настолько взволнован, что не знаю, как вас благодарить. Я не умею также выразить словами те чувства, которые пробудила в моей душе ваша, господин обер-бургомистр, вступительная речь. Поверьте, она послужит мне мощным стимулом для осуществления всего того, что я хотел бы совершить в грядущие годы, пока еще не иссякли мои силы.

Вы, уважаемые господа члены Попечительского совета, взяли на себя ответственность за новое

событие в астрономии — за то, что именно мне, малозаметной, крошечной планете, позволено сегодня пройти перед нашим ярчайшим светилом — перед Гёте. На вас лежит ответственность перед миром за это астрономическое явление. Но чтобы хоть сколько-нибудь облегчить вам бремя ответственности, скажу, что эта неприметная крохотная звездочка уже и без того давно захвачена силой притяжения нашего солнца — великого Гёте. И я прошу у вас позволения коротко рассказать вам в этот час о том, как я пришел к Гёте и что с ним вместе пережил. Я хотел бы тем самым положить начало традиции: пусть те, кому вы вручаете эту награду, тоже каждый раз исповедуются в том, что они пережили вместе с Гёте и как относятся к нему в глубине своего сердца.

Впервые о взглядах Гёте меня заставили задуматься мои философские увлечения. Когда мои глубоко уважаемые мной страсбургские учителя Вильгельм Виндельбанд и Теобальд Циглер посвятили меня в новейшую философию и зажгли во мне чувство восхищения великими спекулятивными системами, я никак не мог постичь, почему Гёте, который жил в одно время с такими гигантами, как Кант, Фихте и Гегель, несколько отчужденно обходил стороной их системы, пропуская их мимо себя, сам же не пошел дальше натурфилософии в том ее виде, в каком она предстала перед ним в трудах стоиков и Спинозы, в каком стала ему близка и какую он пытался развить дальше. То, что он отдавал предпочтение явно заурядному

учению, упуская при этом истинно незаурядное, удивляло меня и не давало мне покоя. Могу сказать, что, быть может, именно это обстоятельство впервые пробудило во мне неослабную потребность доискаться сути новой философии и самому поразмышлять обо всем этом. С течением времени мне становилось ясно, что есть два вида философии, которые существуют параллельно друг другу.

Цель любой философии — разъяснить нам как мыслящим существам, каким должно быть наше отношение к мирозданию, с которым нас объединяет четко выраженная внутренняя связь, и как нам следует реагировать на побуждения, обусловленные этой связью.

Первая из этих двух философий сопрягает человека и мироздание, совершая для этого насилие над природой и связывая человека с покорным его мышлению миром.

Вторая, неброская, философия, или натурфилософия, оставляет мир и природу такими, как есть, и принуждает человека искать в них свое место и утверждать себя как духовно превосходящий и действующий на них субъект. Первая философия — порождение человеческого гения, вторая — элементарная, вырастающая на почве стихий. Первая проявляет себя в мощных вулканических извержениях мысли, какие мы наблюдаем в великих спекулятивных системах немецкой философии, все снова и снова восхищающих нас. Эта философия со временем уходит. Вторая, непритязательная и простая

натурфилософия, остается с нами. Всегда победа оказывается на стороне элементарной философии, первой попыткой осмыслить которую был стоицизм и которая затем в нем же и погибла, потому что не сумела пробиться к оптимистическому взгляду на мироздание и на жизнь. Эту натурфилософию мы унаследовали в незавершенном виде. Философия Спинозы и рационализм XVIII века явились еще одной попыткой додумать натурфилософию до конца и найти путь к оптимистическому мировоззрению. Когда же это не удалось, место такой попытки заняла сила. Великая спекулятивная философия вывела на сцену свои принудительные системы. В эпоху всеобщего слепого преклонения перед покорившим весь мир мышлением жил один человек, который не был слеп и стойко хранил преданность непритязательной элементарной натурфилософии, сознавая, что в XVIII веке, в котором он жил, она еще не могла быть домыслена до конца и стать жизнеутверждающим мировоззрением; но зная, что ей это предстоит, он работал над этим с присущим его натуре смирением.

Когда я сам образумился и вновь обратился к натурфилософии, поняв, что наше предназначение — просто домыслить ее до жизнеутверждающего мировоззрения, что в этом процессе должны будут принять участие все мыслящие люди на свете, которые сумеют найти в нем гармонию с бесконечным и стимул к творчеству, — тогда Гёте стал для меня тем, кто удержался на потерянных

позициях, которые нам сегодня вновь предстоит занять, дабы приняться за дело.

Между тем у меня была и другая встреча с Гёте. Как-то раз, в самом конце моего студенчества, мне почти что случайно довелось перечитать строки, посвященные его путешествию в Гарц зимой 1777 года. И я был удивлен и взволнован тем, что тот, на кого мы привыкли взирать как на олимпийца, не побоявшись ни ноябрьского дождя, ни ноябрьской мглы, отправился в путь, чтобы навестить сына священника, испытывавшего тяжкие душевные страдания, и попытаться облегчить ему душевные муки. В величавом олимпийце я вдруг увидел светлый облик участливого и скромного человека. И я полюбил Гёте. В моей дальнейшей жизни, когда я понимал, что должен потрудиться для того, чтобы оказать какому-либо человеку человеческую услугу, в которой тот нуждался, я говорил себе: это твое путешествие в Гарц.

Моя новая встреча с Гёте состоялась, когда, изучая его творчество, я обратил внимание на то, что он не мыслил для себя умственных занятий без сопутствующих практических дел, причем он отдавал себе отчет в том, что умственная работа и практическая деятельность не имеют между собой ничего общего, ни по своему назначению, ни по характеру труда, что они существуют независимо друг от друга и неразделимы только для него лично. Меня глубоко взволновало, что для исполина, возвышающегося над всеми творцами духовных ценностей, не существовало работы, которую он считал бы ниже

своего достоинства; не было практического дела, о котором он сказал бы, что другие по своим способностям и предназначению смогут выполнить это лучше, чем он, но, напротив, он стремился воплотить гармоничность своей индивидуальности в сочетании практической деятельности с умственным трудом.

Я занимал должность пастора, когда пробовал писать свои первые работы. И если я тяжело вздыхал при мысли, что посещения паствы и прочие бесчисленные обязанности, возлагаемые на меня моей должностью, — на которой я оставался из внутренней потребности, — не оставляют мне времени для умственного труда, то утешением служил мне пример Гёте, который, замыслив грандиозные планы духовного творчества, все-таки не гнушался сидеть над счетами, стараясь привести в порядок финансы маленького герцогства, рассматривал проекты целесообразного размещения закладываемых улиц и мостов и годами трудился над восстановлением заброшенной шахты. И это сочетание незаметных дел с духовным творчеством служило мне утешением в моей тогдашней жизни. Когда мой жизненный путь приводил меня к необходимости, во имя моего служения, браться за дело, далекое от моих способностей, в которых я себя уже проверил, далекое от занятий, к которым себя готовил, тогда мой утешитель Гёте находил слова, служившие мне поддержкой. В то время как окружающие, даже те, кто понимал меня лучше всех, возмущались и терзали меня своим протестом

против моего нового намерения изучать медицину, для которой я и в самом деле не был создан, называя это намерение авантюрой, я думал о том, что ему, великому, оно, возможно, не показалось бы такой уж авантюрой, раз он заставил своего Вильгельма Мейстера, во имя его служения, сделаться в конце концов врачом, вопреки тому, что он, казалось бы, совершенно не был к этому подготовлен. И тогда я осознал, какое значение для всех нас заключено в том, что Гёте в своих поисках конечного предназначения человека заставляет тех, в ком поэтически изобразил самого себя, Фауста и Вильгельма Мейстера, под конец заняться самым рядовым делом и что они, занимаясь этим делом, становятся людьми в самом полном смысле слова, какими только могли стать согласно его замыслу.

Пустившись в путь за приобретением навыков в этой новой для меня сфере, я опять повстречался с Гёте. Чтобы посвятить свой жизненный путь медицине, я должен был заняться естественными науками, — конечно, в качестве ученика, а не в качестве исследователя, как он. Увы, насколько далеки были естественные науки от того, что мне хотелось бы еще сделать в области духовного творчества, прежде чем целиком отдаться практической деятельности! И тогда мне подумалось, что ведь Гёте тоже перешагнул через тягу к умственному труду и вернулся к естествознанию. Меня почти возмущало то, что в то время, когда ему надлежало доводить до совершенной формы все, что будоражило

его душу, он погрузился в естественные науки. И вот теперь я сам, человек, который до той поры занимался одним лишь умственным трудом, вынужден был взяться за естественные науки. Мне пришлось углубиться в них, и я понял, почему Гёте отдался естествознанию и сохранил ему верность: по той причине, что каждый, кто создает духовные ценности, обязательно неизмеримо много выигрывает и обретает ясность взгляда, если он, до сих пор творивший факты, теперь сам оказывается перед лицом фактов, которые представляют собой нечто не потому, что их придумали, а потому, что они существуют. Любое мышление стимулируется тем, что наступает момент, когда ему пора прекратить заниматься вымыслами и начинать пробивать себе путь через действительность. И когда мне приходилось пробивать свой путь через действительность, я видел перед собой того, кто всем нам был в этом примером.

Когда наконец подошло к концу тяжелое время учения и я поехал работать врачом в лесную глушь, я еще раз повстречался с Гёте и в том девственном лесу снова мысленно разговаривал с ним. Прежде я всегда думал, что поеду туда работать в качестве врача. В первые годы, когда шло строительство или производились другие работы материального свойства, я старался переложить их на плечи других людей, которые мне казались пригодными или предназначенными для этого. Вскоре мне пришлось убедиться, что из этого ничего не выходит. Таких людей либо вовсе не было, либо они оказывались

неспособными добиваться успешного продвижения работ. Тогда я заставил себя заняться делом, которое ничего общего не имело с врачебной практикой. Но самое худшее ждало меня под конец. Когда в последние месяцы 1925 года моей больнице стал угрожать сильный голод и я вынужден был собственноручно закладывать для больницы плантацию, которая помогла бы нам как-то продержаться во время грядущей голодной поры, тогда мне пришлось лично руководить вырубкой непроходимого леса. Пестрая команда рабочих, наскоро составленная из санитаров-добровольцев, не признавала никакого начальства, кроме «старого доктора», как меня там величали. И я простоял целые недели и месяцы в лесной чаще, выбиваясь из сил, для того чтобы вместе со строптивыми работниками отвоевать у джунглей кусочек плодородной земли. Когда я приходил в полное отчаяние, то вспоминал о том, что Гёте в конце своей поэмы подвел Фауста к осознанию конечной цели: отнять у моря часть земли, где люди могли бы жить и добывать себе пищу. Так Гёте стоял со мной рядом в той затхлой чаще и утешающе, всепонимающе улыбался мне.

Скажу еще об одной особенности характера Гёте, роднящей меня с ним, — его постоянной заботе о справедливости. Когда на рубеже веков начали набирать силу теории, гласившие: пусть то, что должно совершиться, совершается без оглядки на справедливость, без оглядки на судьбы людей, попавших под удар новых обстоятельств, и когда я сам не знал, как противостоять этим теориям, в плену

которых мы все оказались, тогда неизгладимое впечатление на меня производило то, что у Гёте я всякий раз обнаруживал стремление совершать что бы то ни было не в ущерб справедливости. И я все снова и снова взволнованно листал заключительные страницы «Фауста», которого и в Европе, и в Африке всегда перечитывал в пасхальные дни, где Гёте повествует о последнем проступке Фауста, из-за которого он в последний раз пережил чувство вины, потому что потребовал убрать с дороги мешающую ему осуществлять свои планы хижину, применив для этого небольшое и якобы безболезненное насилие, попросту «устав от справедливости», как он сам выразился, — когда «безболезненное» насилие обернулось чудовищным злодеянием, из-за которого люди лишились жизни, а хижина погибла в огне. То, что Гёте в конце своей трагедии вводит этот затягивающий действие эпизод, позволяет нам глубже понять, как сильно волновала его забота о справедливости и как горячо он желал, чтобы то, чего не миновать, совершалось, никому не причиняя вреда.

Моей последней встречей с Гёте было осознание, что он предельно остро воспринимал свою эпоху со всеми ее идеями и событиями. В нем кипели страсти его эпохи. Это то, что поражает не только в молодом и зрелом Гёте, но именно в старом Гёте. В те времена, когда по проселочной дороге еще еле-еле ползала почтовая карета и когда индустриальный век, казалось бы, только еще едва брезжил впереди неясной тенью, он уже видел, что индустриальный век стоит у порога. Его беспокоила

возникшая в связи с этим проблема: то, что машина начала заступать место трудящегося человека. Когда, создавая «Годы странствий Вильгельма Мейстера», он вдруг перестает владеть материалом, это происходит вовсе не потому, что он утратил силу воображения, которой прежде обладал в полной мере, но потому, что материал разросся до неизмеримых объемов и стал аморфным, потому, что он стремится вложить в этот материал все пережитое, всю свою тревогу о грядущем, потому, что он озабочен тем, чтобы стать вровень с людьми своего времени, стать человеком, который понимает это новое время и может с ним совладать. Вот что глубоко изумляет в стареющем Гёте.

Таковы были мои встречи с Гёте, сблизившие меня с ним. Он не призывал к энтузиазму. В своих произведениях он не проповедует теорий, вдохновляющих на подвиг. Все, что он нам предлагает, — это пережитое им самим в мыслях и в реальных событиях, преобразованное в действительность более высокого порядка. Лишь переживание приближает нас к нему. Созвучное переживание превращает незнакомца в близкого человека, с которым нас связывает благоговейная дружба.

Моя собственная судьба сложилась так, что я всем сердцем, всем своим существом переживаю судьбы нашего времени и тревогу за человечество. То, что в эпоху, когда столь многие, кто необходим нам в качестве свободных людей, вынуждены тянуть лямку трудовой деятельности, я могу переживать события как свободный человек и могу,

подобно Гёте, благодаря счастливому стечению обстоятельств, служить своему времени как свободный человек, я воспринимаю как дар благодати, который облегчает мою непростую жизнь. Все, над чем я работаю и что создаю, является для меня всего лишь данью признательности судьбе в ответ на ее благосклонность.

Пример Гёте учит нас печься о своем времени и трудиться во славу его. Жизнь сегодня сделалась хаотичнее, чем даже он с его ясным взглядом мог предвидеть. Мы должны быть сильнее наших жизненных условий и невзирая на них стать людьми, которые понимают свое время и конгениальны ему.

Верность гётевскому духу налагает на нас три обязанности. Мы должны бороться с обстоятельствами так, чтобы люди, которых эти обстоятельства заставляют тянуть лямку физического труда, доводя их до изнурения, все же сохраняли свою духовность. Мы должны бороться с самими людьми за то, чтобы они, постоянно отвлекаясь на внешние факторы, которыми изобилует наше время, все-таки находили путь к внутреннему самоосмыслению и не сворачивали с этого пути. Мы должны бороться с собой и со всеми другими людьми во имя того, чтобы в наше время господства путаных и антигуманных идеалов сохранить преданность великим идеалам гуманизма XVIII века, привить их мировоззрению нашей эпохи и стараться претворять их в жизнь.

Это то, что все мы, каждый на своем месте, обязаны делать, если хотим оставаться верны духу

великого сына Франкфурта, чей юбилей мы сегодня празднуем в его родном городе. Я думаю, что с течением времени он не отдаляется от нас, а становится все ближе. Чем дальше мы уходим вперед, тем больше распознаем в великом сыне Франкфурта того, кто, как подобает и нам, глубоко и всеобъемлюще сопереживая своему времени, пекся о нем и трудился для него; того, кто стремился стать человеком, который понимает свое время и ростом своим ему равен.

Он делал это, пользуясь прекрасными дарами, которые здесь, в этом городе, фортуна вложила в его колыбель. Мы, наделенные лишь малой толикой таланта, должны это делать, стремясь правильно распорядиться этой малой толикой. Быть по сему!

**Речь, произнесенная
на торжественной встрече
по случаю столетия
со дня смерти Гёте
в его родном городе
Франкфурте-на-Майне
22 марта 1932 года**

Сто лет миновало с тех пор, как в этот самый день, в девять часов утра, Гёте, чувствуя себя выздоравливающим, выпрямился в кресле, в котором провел ночь, и спросил, какое сегодня число. Услышав, что сегодня 22 марта, он сказал: «Значит, началась весна, и тем быстрее дело пойдет на поправку».

Он не думает о том, что день 22 марта издавна является для него фатальным; он не вспоминает о роковом дне 22 марта 1825 года, когда в пламени погиб Веймарский театр, где они вместе с Шиллером развернули столь блестящую деятельность. Его, солнцепоклонника, переполняет радость оттого, что на небе сияет весеннее солнышко.

Потом, когда у него уже начинают путаться мысли, он, на мгновение придя в сознание, просит отворить закрытые ставни, чтобы впустить в комнату побольше света. Еще до того, как солнце новой весны успело дойти до полуденной высоты, он вступил в царство вечного света.

Столетнюю годовщину со дня смерти своего лучшего сына город Франкфурт отмечает при дивном сиянии весеннего солнца... и в условиях величайших бедствий, выпавших на долю родного города и народа Гёте. Безработица, голод и отчаяние стали уделом многих и многих жителей этого города и всей страны. Кто возьмется измерить все бремя забот о куске хлеба, которые душат всех нас, собравшихся сюда, в этот дом, на это торжество?

Вместе с физическим существованием под угрозой поставлена и духовная жизнь. Нет больше средств на продолжение работы над очень многим, что было раньше достигнуто в сфере культуры и образования. Столетняя годовщина со дня смерти Гёте совпала с моментом, когда поднятое в прошлом на небывалую высоту школьное образование, которое составляло гордость его народа и в развитие которого он вложил немало труда, работая над ним непрерывно в течение полувека, начинает рушиться.

Вряд ли мы имеем основания безмятежно радоваться тому, что Франкфурт-на-Майне в первый раз отмечает юбилей Гёте, будучи обладателем университета, на который он, город, где родился Гёте, безусловно имеет право и основание которого стало наконец возможным благодаря добровольным пожертвованиям его граждан. Страх и тревога за его будущее омрачают нашу радость. Пусть выпадет ему судьба его собратьев-университетов, которые, открывшись когда-то в годы безысходной нужды, сумели достичь величайшего расцвета.

Пусть судьба будет милостива и к старинным франкфуртским очагам науки, пусть она спасет их от разрушения и позволит выстоять в эти тяжелые времена.

Пусть также появится возможность предотвратить разрушение дома, где родился Гёте, — его фундамент находится под угрозой, но отсутствие средств ставит под вопрос выполнение неотложных работ.

Этот день пришелся на время нужды и забот, настолько огромных, что может возникнуть вопрос: а не следует ли нам отмечать эту дату скромно, без шумных торжеств? Ответ мы находим в «Фаусте». Император, еще весь под впечатлением выигранной битвы, отвечая согласием на просьбу первого камергера устроить праздник, произносит следующие слова:

Положим, думаю теперь я лишь о деле.

Но пусть! И радости ведут к высокой цели.

Так что, пусть: быть по сему.

Но странные, противоречивые чувства преследуют нас сегодня, в день памяти Гёте. С гордостью охватываем мы мысленным взором все, что было дано нам в его личности и в его деятельности, чего у нас уже не отнять и что никогда не будет обесценено. И в то же время мы не можем не спросить себя, не стал ли он нам чужим, — ведь время, когда он жил и творил, еще не знало нужд и проблем нашего времени. Не обходит ли стороной излучаемый им свет ту сумрачную долину, где мы пребываем, не устремляется ли он вдаль, в глубины

будущих времен, которые будут соответствовать высотам его эпохи?

Однако не будем пока задаваться подобными вопросами. Подавим в себе на время и боль, от которой сердце разрывается каждый раз, когда мы, вспоминая об исключительно благоприятных условиях развития неповторимо богатого дарования Гёте, думаем о тех, кому не довелось подарить миру скрытые в них богатства, потому что эти юноши были сметены с лица земли войной, не успев даже стать мужчинами, равно как и о тех, кому не суждено раскрыть сокровища своей души, потому что они живут в нужде, не позволяющей им даже мечтать об этом.

Положение наше настолько бедственно, что мы обрели способность отрешаться от самих себя и в этом уже почти не признаваемом нами факте обрести упование на то, что наступит время, когда люди смогут проводить жизнь в условиях, которые позволят им достичь вершин человечности. В этом смысле мы сегодня приближаемся к Гёте, которому как никому другому была присуща человечность.

Сам Гёте отдает себе отчет в том, сколь многим он обязан условиям, в которых протекала его жизнь. Он неоднократно заводит об этом разговор — в последний раз уже за три недели до смерти в беседе с молодым женеvцем Сорэ, которому

мы обязаны столь ценными записками о последних десяти годах жизни Гёте.

Он растет в городе, широко открытом для современной общественной и духовной жизни, который оказывает на него столь многообразное и столь плодотворное влияние. Ведь недаром же он сам ска- зал как-то, что не мыслит более подходящего места для своей колыбели, чем такой город, как Франк- фурт. Позднее, в Веймаре, он находит уникальные условия для духовной жизни, какие в то время могли быть созданы только при княжеских дворах, в осо- бенности же в крупных и мелких немецких княже- ствах, постепенно превращавшихся в средоточия тон- чайшей образованности. Он живет в эпоху, когда люди находят опору в действительном в те времена духе прогресса. Какой отклик в нас, сегодняшних, находит то место в «Поэзии и правде», где он рас- сказывает, что в юности ему посчастливилось быть свидетелем тому, как неуклонно улучшались усло- вия жизни и как дух гуманизма овладевал умами людей! Впоследствии он переживает грандиозные по- трясения, в которые ввергла мир Французская рево- люция и которые, казалось бы, поставили под угрозу успешное развитие европейских народов; пережив и финал этих потрясений, он в результате может констатировать их преходящий характер.

Материальной нужды он не знал. Борьбу за су- ществование, к которой он не был природно при- способлен, ему вести не пришлось.

Его должность в Веймаре оставляет ему время и на труд, и на досуг, которые ему одинаково

необходимы для самосовершенствования. Он может служить, не превращаясь в слугу; он может принимать участие в управлении как человек, движимый простой целью — осуществить то, что он считает правильным и целесообразным, не растрачивая сил на споры с противными сторонами и на выслушивание их мнений.

В нужное время в его жизнь входят люди, которые ему необходимы. Гердер, Виланд, Лессинг, Шекспир, Спиноза и Якоби дают ему все, что только могут дать.

В Веймаре герцог стремится как друг понять его и по возможности во всем идти ему навстречу. Гёте пишет однажды, и это не просто фраза: *«Этот герцог дал мне возможность развиваться, что ни при каких других условиях в нашем отечестве было бы недостижимо»*.

Прекрасный цветок дружбы с Шиллером расцветает для него в 1794 году, в тот самый момент, когда он уже не знает, как вырваться из тисков одиночества, которое он избрал для себя после возвращения из Италии, и когда, утратив стимул к творчеству, он начинает отчаиваться в своем поэтическом даровании.

Конечно же, каждый из всех тех, великих и малых, кто поддерживал его, в итоге получил от него больше, чем сам ему дал. Но сам он, терзаемый бесконечными сомнениями и нерешительностью, которые удивительным образом сочетаются у него с силой воли и величиим творческого начала, нуждается в предупредительности, в понимании,

в ободрении, даже в напуганности. То, что он все это находил всегда, с самой юности до одиноких годов старости, было большим счастьем, осенявшим его жизнь. Вряд ли можно назвать хотя бы одно из его великих произведений, которое созревало бы и доводилось бы до совершенства без заинтересованного участия понимающего человека, который умел зажечь в его душе радость творчества и поддержать этот огонь. Такое понимание проявила его сестра, когда он писал своего «Гёца фон Берлихингена», его отец — при сочинении «Эгмонта», Шиллер — в пору создания «Фауста» и многих других произведений.

Так обстоятельства и окружение Гёте помогали его формированию в незаурядную человеческую и творческую личность, на которую мы сегодня благоговейно взираем снизу вверх.

* * *

Мы далеки от слепого преклонения перед его человеческой личностью. Много есть в жизни Гёте, в его образе мыслей, в его произведениях, что можно нам извлечь для себя и тем обогатить свой ум, много такого, что хотелось бы додумать до конца.

Гёте отнюдь не есть некий идеальный персонаж, непосредственным образом притягивающий и воодушевляющий. Он меньше, но он и больше.

Основу основ его личности составляют правдивость и честность. Он имеет право заявлять — и он делал это, — что лживость, лицемерие, интриганство

ему так же чужды, как тщеславие, недоброжелательность и неблагодарность.

Вокруг этих двух качеств, говорящих о направленности всех его помыслов, группируются другие особенности его натуры, которые не уравновешивают друг друга, а проистекают из двух противоположных полюсов: спонтанности и неспонтанности. В Гёте пленяет его манера раскрываться и тут же снова уходить в себя. Природа наделила его большой добротой, и в то же время он может быть очень холоден. Он необычайно остро переживает все происходящее и в то же время прямо-таки страшится мысли, что может выйти из равновесия. Он импульсивен и одновременно нерешителен. В письме к Шиллеру от 27 августа 1794 года он обращает внимание своего нового друга на то, что при более близком знакомстве тот обнаружит в нем некую неуверенность и склонность к колебаниям, для него непреодолимую.

Так что Гёте, при всем богатстве его дарований, с самого детства не был ни счастливым, ни гармоничным человеком — напротив, ему приходится много работать над собой, причем эта работа осложняется еще и частыми периодами болезненного состояния, из-за которых он, по собственному свидетельству, *«потерял несколько лучших лет жизни»*. А как подолгу держится у него состояние подавленности и неспособности к работе — вечный спутник его недомоганий!

Избирая путь, который ему предстояло пройти с самим собой, Гёте признает для себя важным

никогда не навязывать себе ничего чуждого своей натуре, а стараться совершенствовать то доброе, что заложено в него природой и что живет и теплится в его душе, и избавляться от всего, что есть в ней недоброго.

Этой работе над собой он предается с величайшей серьезностью. В «Поэзии и правде» он признается, что уже с ранних лет с глубокой серьезностью вглядывался в себя и в окружающий мир. Эта его серьезность волнует сердце каждого, кто с пониманием вступает в мир Гёте.

В работе над собой Гёте достигает вершин человечности, которая, опираясь на фундамент правдивости и честности, характеризуется отсутствием зависти, уравновешенностью, миролюбием и добротой. Жизнь не раз дает ему повод для упражнения в независтливости, уравновешенности и миролюбии. Существование его отнюдь не радужно; успех его не балует. После «Вертера» ни одно из его произведений уже не получило всеобщего признания. Особый доверительный тон, появляющийся в его поздних сочинениях, оказывается чужд читателю. От автора «Гёца фон Берлихингена» и «Вертера» ждут совсем иного. Каких только благоглупостей не наслушался Гёте о таком совершенном произведении, как «Герман и Доротея», — и не только от представителей толпы, не имеющей собственного мнения, но и от тех, кто был ему близок!

Подготовленное в Италии издание собрания его сочинений раскупается слабо. Его пьесы почти не

ставятся. Восходящая звезда Шиллера затмевает его поэтическую славу. Его исследования в области естествознания игнорируются потому, что он якобы не является специалистом. Активизируется явная и скрытая вражда к нему.

Он же спокойно и невозмутимо идет своим путем. Он имеет право задать в письме к Шеллингу вопрос: слышал ли от него кто-нибудь хоть слово в ответ на враждебные выпады против него?

Его миролюбию не уступает и его доброта. Конечно, по отношению к тем, кто ему менее близок, он порой проявляет известную сухость, которая воспринимается как холодность и истолковывается как высокомерие, — сухость, которая с годами, когда в нем все отчетливее проступают черты характера его отца, увеличивается все больше и больше. По своей сути, эта сухость, как замечает канцлер фон Мюллер несколько разочарованному первым визитом к Гёте (29 сентября 1826 года) Грильпарцеру, не что иное, как ощущение скованности, которую Гёте сам испытывает при встречах с незнакомыми или малознакомыми людьми. И действительно, уже через день, после второго посещения Гёте, у Грильпарцера есть все основания утверждать, что «на этот раз Гёте принял его настолько же приветливо и тепло, насколько сух и холоден был в прошлый раз».

С юных лет и до последних дней своей жизни Гёте в глубине души всегда был сердечным и отзывчивым человеком. Он, как мы знаем из многочисленных источников, никогда не сторонился тех,

кто действительно в нем нуждался. В особенности он старается оказывать действительную помощь, когда сталкивается с духовными и душевными страданиями, ибо для него нет ничего более естественного, чем оказание помощи таким людям. Его принуждает к этому «властная привычка», — признается он однажды. Из заботы об одиноких и сломленных горем родилось его стихотворение «Зимнее путешествие на Гарц», которое принадлежит к самым пронзительным его творениям.

Фогель, врач, который был рядом с Гёте в последние годы его жизни, сообщает, что Гёте предоставил в его распоряжение средства для оказания помощи нуждающимся пациентам, с тем чтобы она не ограничивалась обычным подаянием.

Так Гёте воплощает в жизнь человечность, суть которой он выражает словами «*благороден, скор на помощь и добр*» и чудодейственная сила и величие которой заключается в ее необыкновенной искренности и естественности. Именно эта человечность столь сильно действовала на всех, кто наяву видел свет ее лучей в удивительных глазах Гёте; эта человечность, излучаемая его жизнью и делами, действует и на нас.

Какое сильное впечатление должна была производить на окружающих личность Гёте, если Виланд мог называть его «величайшим, лучшим, прекраснейшим созданием из всех сотворенных Богом», а Шиллер — утверждать, что Гёте как человек превосходит по своим достоинствам всех, кого он знал лично!

Глубокая приверженность природе органически присуща как Гёте-человеку, так и Гёте-творцу. Вместе с Гёте в литературу входит частица естества. Его поэзия впервые придает немецкой поэзии, да и поэзии вообще, подлинную естественность, то есть освобождает ее от всего неестественного и наполняет подлинным духом природы.

Совсем не случайно в Гёте соединились поэт и живописец. И если этому живописцу, пусть и значительному, так и не дано в своей области приблизиться к высотам, достичь которых он стремится, упорно возобновляя свои попытки, то в поэзии он сотрудничает с поэтом, созидавая вместе с ним. С волшебной силой умеет Гёте перенести нас в мир природы, туда, где все чарует его глаза и душу. Он наделен уникальным даром передавать увиденное как пережитое.

А как поразительны его сравнения! Он не придумывает картину для иллюстрации мысли; картины, которые он носит в своей душе как увиденное и пережитое, пребывают в нем в ожидании мысли, которой предстоит обрести в них образ.

Вообще в языке Гёте царит естество. В известной эпиграмме о своих тщетных попытках достичь мастерства в живописи Гёте утешает себя тем, что зато он приблизил к мастерству свой единственный талант — писать по-немецки. Это мастерство заключается в том, что немецкий язык живет у него совершенно естественно и просто. В своем

первозданном и в то же время облагороженном виде он проходит через все творчество поэта. Его совершенная естественность проявляется не только в подборе слов и выражений, но и в ритмике. Никогда не покоряется он ритму стихотворного размера, который служит ему обрамлением, но течет непринужденно и вольно, то укладываясь в эти рамки, то переливаясь через их края.

Сообразно глубокой естественности своей личности, Гёте воспринимает свое бытие в постоянном духовном контакте с природой. Мальчиком он чувствует потребность пойти на рассвете к самостоятельно сооруженному алтарю, чтобы воздать хвалу Господу и принести Ему в дар плоды. В своем первом горе, постигшем его в четырнадцать лет, когда он из-за несправедливого подозрения потерял Гретхен, он ищет утешения наедине с природой. Нанеся незаслуженную обиду Фридерике Брион, он поверяет природе терзающие его муки совести. В природе он вновь обретает себя.

Если чувство дружбы, помогающее людям воодушевлять друг друга на добрые дела и служащее им опорой в несчастье, не занимает главного места в творчестве Гёте, то это потому, что для него близость с природой — это и есть та великая дружба, рядом с которой блекнет всякая другая. Даже в дружбе с Шиллером, которая явилась к нему подобно чуду, он хранил частичку себя для себя самого. Целиком отдаться он способен только природе.

Для него человек, оторвавшись от природы, совершает роковую ошибку. Поэтому трагическая

мысль, которую он вкладывает в сказание о Фаусте, делая ее символичной, — это мысль о пагубности разобщения человека с природой. Фауст предаётся магии, потому что для удовлетворения его дерзких притязаний ему было недостаточно тех знаний о природе, которые он мог получить испытанным путем; тем самым он отлучает себя от мира природы и обрекает на существование, неизбежно чреватое заблуждениями и провинностями. Просыпаясь на лоне природы для новой жизни после сумбура очередных треволнений, — эти строки принадлежат к самым проникновенным в поэме о Фаусте! — он все снова и снова оказывается пленником магии, пока наконец им не овладевает неистребимая жажда любой ценой вернуть себе естественную связь с природой. Вот почему ключ к пониманию драмы Фауста кроется в стихах:

Я всё еще не вырвался из пут!
О, если бы мне магию забыть,
Заклятий больше не произносить,
О, если бы, с природой наравне,
Быть человеком, человеком мне!
Таким я был, но преступил устав...

До самых преклонных лет не прерывается у Гёте его связь с природой, которая с годами лишь углубляется. В канун своего последнего дня рождения, только что закончив и опечатав десятью печатями «Фауста», он вместе с внуками наслаждается прекрасной погодой позднего лета в Ильменау, где так часто природа окутывала его тишиной и покоем.

В последний раз читает он на стене охотничьего домика стихотворение «Горные вершины спят во тьме ночной...», которое написал там карандашом 7 сентября 1780 года. Как рассказывает канцлер фон Мюллер: укрепившись духом, словно безмолвие леса и прохладное дыхание гор влили в него свежие силы, возвращается он домой, весь охваченный новым приливом сил и желанием работать, которое с этого дня уже не покинет его до самой смерти.

* * *

Неразрывная связь Гёте с естеством, с природой, обуславливает и естественность его творческой индивидуальности. В этом неповторимое величие его творчества, в этом же и поставленная ему граница. Это обнаруживается уже в самом способе преподнести изображаемое. Гёте ощущает прекрасное так, словно это не он свершитель его, а оно само вершится в его душе. Работать же он может, лишь когда материал зовет его; и если материал больше не зовет, ему приходится оставить его и ждать, пока он его не призовет снова. Он шел этим тернистым путем творческих исканий, с восхищением и без тени зависти глядя на Шиллера, который мог сохранять творческую энергию всегда и зависел в этом исключительно от собственной воли.

То, что присуще Гёте природно-творческое начало значило одновременно безграничность и ограниченность, он замечает и по тому обстоятельству, что ему не удастся одинаково свободно выражать

себя в любой художественной форме. Его глубокая приверженность природе предопределяет силу, обаяние и неподражаемое совершенство его лирических, эпических и повествовательных произведений. То, что он не в силах от нее оторваться, мешает ему как драматургу. Он не может заставить себя изображать природу и действие в наиболее подходящей для показа на сцене форме и не отступает от стремления представлять их зрителю такими, какими они на самом деле являются в подлинной действительности. Поэтому все пьесы Гёте, за исключением тех, которые, как, например, «Торквато Тассо» и «Ифигения», уже сами по себе сценичны благодаря простоте сюжета и действующей в них природе, несут на себе определенный отпечаток не-сценичности и сверхсценичности. С одной стороны, они демонстрируют отказ автора от самых выигрышных театральных эффектов; с другой стороны, предъявляют к сцене требования, которые далеко превосходят ее возможности. Лишь на сцене нашей фантазии, для которой они, собственно, и написаны, а вовсе не на обычных сценических подмостках они способны произвести настоящий эффект, что, впрочем, не означает, что они не обладают полным правом быть поставленными и на подмостках сцены.

Однажды Гёте в резкой форме высказал по поводу сценичности, к которой не мог приспособиться, необоснованное суждение: якобы если дело касается театра, то природу надо оставлять в покое и довольствоваться показом того, «что можно

показать детям при помощи кукол на сценических подмостках в пространстве между перекладинами, картонными задниками и ширмой».

Несценичность драм Гёте, невозможность ограничить их рамками сцены едва ли стоит исправлять при помощи изощреннейших, для него в то время немислимых приемов инсценировки, которые лишь более резко обозначают зияющую пропасть между сценой и действительностью. Лишь фантазии зрителя под силу извлечь из неполноты и несовершенства представленного на сцене то, что Гёте хочет ему показать, и возвысить это до уровня действительности, зримой во всей ее полноте.

Если обратиться к содержательной стороне произведений Гёте, то станет уже совершенно очевидно, насколько сильна зависимость безграничности гётевского творчества и его ограниченности от его связи с природой. Пожалуй, не было случая, чтобы в жизни какого-либо поэта столь же точно сбылось пророчество, как обращенные к юному Гёте слова Мерка, его друга и нелюбимого критика, предсказавшего, что «он никогда не свернет с пути изображения действительности в поэтической форме».

И в самом деле, Гёте не дано было проникаться чуждым его натуре и его переживаниям материалом, поэтически осмыслять его и воссоздавать в виде жизненно достоверных образов. Совершенства — но какого захватывающего, ни с чем не сравнимого совершенства! — достигает он лишь тогда, когда созданное им произведение в определенном

смысле повествует о нем самом. В «Поэзии и правде» он сам признается, что все его сочинения — это фрагменты одной большой исповеди. Это относится не только к тем произведениям, в центре которых, как в «Вертере», в «Тассо», в «Фаусте», в «Вильгельме Мейстере», стоит образ, в котором живет частичка его души. Другим сочинениям тоже присуща исповедальность, ибо источник всей жизни этих литературных творений заключен в переживаниях их автора. Чем глубже вникаешь в каждую подробность произведений Гёте, тем яснее видишь, как много в них самосозерцания в самом истинном смысле слова.

Когда Гёте берется за художественную обработку того или иного материала, но не испытывает при этом самодовлеющей тяги рассказать о самом себе, тогда выходящее из-под его пера, хотя и не лишено определенных достоинств, все же носит на себе лишь слабый отпечаток его души и его мастерства.

После того как в 1791 году Гёте берет на себя руководство Веймарским придворным театром, он, как свидетельствует одно из его писем, считает своим долгом ежегодно писать по несколько пьес, пригодных для постановки на сцене. Так появляются его отнюдь не безупречные драматические сочинения, такие как «Великий жрец», «Внебрачная дочь», «Гражданский генерал». Позднее Гёте убеждается, что не может выполнить то, за что взялся, и продолжает еще полжизни возглавлять театр, не принуждая себя больше заниматься драматургией.

Так что как поэту Гёте не все доступно. И если молодежь — а так повелось издавна — больше тянется к Шиллеру, нежели к Гёте, то причина не только в том, что ей недостает в произведениях Гёте энтузиазма, но и в том, что по мастерству они неравнозначны шиллеровским. Молодым людям трудно представить себе, что у такого гения, как Гёте, могут наряду с самыми превосходными шедеврами рождаться наполовину удачные и даже совсем неудачные произведения.

В действительности каждый творчески одаренный дух подчиняется собственным законам, которым он бессилен противостоять. Глубочайшим образом связанный с природой, Гёте с неповторимым совершенством исполнил свое предназначение, показав нам в своих шедеврах себя самого как частицу самой щедрой и самой благородной природы и одарив человечество таким богатством, что для него уже не имеет значения, сколько еще возникших попутно менее замечательных произведений пополняют это богатство.

Каково же содержание этого рассказа о себе самом? Через него красной нитью проходят — то параллельно, то переплетаясь между собой — три мотива: мотив самосовершенствования, мотив облагораживающего влияния женщины и мотив вины.

Самосовершенствование. Поскольку Гёте в качестве пути, которым ему предстоит идти, признает

лишь самосовершенствование, а никак не навязывание себе чего-либо чуждого, в его сочинениях мы не встретим идеальных героев с пылкими устремлениями, а всегда видим только его самого в различных образах, жаждущего, при безошибочном чувстве реальности, через промахи и заблуждения подняться выше, вырасти.

В сущности, все нарисованные им персонажи — вспомним о тех, что проходят перед нами в «Вильгельме Мейстере», — постоянно заняты мыслями о самоочищении, но при этом каждый сохраняет свою самобытную индивидуальность.

Идея самооблагораживания наполняет своим теплым светом простейшие изречения Гёте, которые с тех пор, какие бы ни наступили времена, озаряют путь ищущих людей. Он, кто так страстно жаждет, чтобы его жизнь все ярче и ярче освещала идея чистоты, принадлежит к тем людям, которые, подобно маяку, указывают человечеству его путь.

Роль хранительницы благородного начала и помощницы в его обретении Гёте отдает женщине, потому что в его жизни именно она исполняет эту миссию.

Еще во Франкфурте его первая любовь Гретхен пользуется своей властью над ним, чтобы удержать его от глупостей, совершив которые он уронил бы свое достоинство, и упрощает его всегда и во всем оставаться честным. Позднее путь к чистоте и добру более десяти лет указывает ему Шарлотта фон Штейн. Поддержку в своем духовном становлении он находит у двух княгинь Веймарского дома

и у других женщин, имена которых остались нам неизвестны. Потом эти женщины, то почти не меняя своего облика и положения, то соединяясь друг с другом и превращаясь в новые личности, высокие и низкие, но одинаково колоритные, переходят из его жизни в поэзию.

Так возникают величественные образы, такие, как принцесса в «Торквато Тассо» и Ифигения. Какое возвышенное звучание обретает у Гёте античный миф об Ифигении! Героиня находит способ удержать своего брата и его друга Пилада от пути насилия, лжи и лицемерия, который им видится вполне приемлемым для достижения свободы; даже собственное освобождение она не хочет покупать ценой неблагодарности. Вспомним, что в древнегреческом первоисточнике именно сама Ифигения наставляет мужчин на путь коварства!

Вряд ли найдется в мировой литературе произведение, которое по своему этическому уровню было бы сопоставимо с этой гётевской трагедией, и вряд ли существует другое произведение, в котором столь неуловимо и всё же с такой могучей силой проявляется нравственное начало.

Так же глубоко, как облагораживающее влияние женщины, Гёте переживал и чувство вины. Какой болью отзывается в «Поэзии и правде» каждое слово, когда он говорит о своей вине перед Фридерикой Брион!

Когда в «Гёце», в «Клавиго», в «Стелле» и в других сочинениях он выводит образ человека, виновного перед женщиной, ввергнувшего ее в страдания

своим безрассудным поведением и последующими колебаниями, то это не просто литературный сюжет, взятый из собственной жизни, которому он придает чеканную поэтическую форму, а самобичевание, которому нет конца.

Мотив классической трагедии — вина, которая ложится на человека без всякой его сопричастности к ней, в силу фатальной необходимости, — в поэзии Гёте отсутствует. Только пережитое, а не придуманное выводит он перед нами. Необходимость в чистом виде не может существовать для того, кто пишет: *«Наша жизнь, как и все, к чему мы причастны, непостижимым образом складывается из свободы и необходимости»*. В 1830 году он пишет Цельтеру, что трагический сюжет в чистом виде вообще не способен его заинтересовать.

Гёте сознает, что всеми своими размышлениями о виновности мы прикасаемся к великой тайне, которую не можем охватить взором и раскрыть до конца. Но он считает, что у него достаточно оснований, чтобы не сомневаться в одном: власть, которую чувство вины получило над нами, призвана не уничтожить нас, но стать вехой на пути нашего очищения. Жизнь сохраняет свои права также в отношении виновного человека. *«Но человеку хочется жить»* — сказано в «Поэзии и правде» в конце исполненных боли строк о вине перед Фридерикой, после чего следует: *«Вот почему я всей душой принимал участие в других...»* Стать виноватым означает обрести оплаченное дорогой ценой понимание глубинной сути вещей.

То, что серьезное отношение к жизни достигается через осознание вины, Гёте доказывает всей своей жизнью. Когда зрелый мужчина не решается удалить от себя женщину, которая вошла в его жизнь по его же вине, а дает ей место рядом с собой и берет на себя все возникающие у него в связи с этим внутренние и внешние трудности, то это потому, что в нем жива память о своей давней юношеской провинности, и память эта велит ему теперь следовать трудным путем искупления гораздо более тяжелой вины. Именно эта страница главы под названием «Кристиана» в книге жизни Гёте очень часто остается незамеченной. Как сообщает одно из писем Гёте, был человек, который правильно понял эту сторону его поступка, — это Шиллер.

С какой силой, и вместе с тем без тени навязчивости, идея очищения через вину, идея покаяния и исправления своих пороков выражена в персонажах его романов о Вильгельме Мейстере!

Если человек не ведает покоя от сознания своей вины, то, значит, он находится на пути к спасению через непостижимую тайну любви, которая, словно лучик светозарной вечности, проникает в темные глубины земной жизни.

Чья жизнь в стремлениях прошла,
Того спасти мы можем.

В своих сочинениях Гёте раскрывается перед нами не только как поэт, но и как мыслитель.

Правда, он всю жизнь противился вступлению в философский цех. Гордо и не без хвастовства он признается в одном из своих изречений, что сумел достичь кое-чего лишь потому, что «никогда не размышлял о мышлении». Он, правда, старается понять Канта, Гегеля (к которому питает истинное расположение) и Шеллинга и стремится, в чем только может, приобщиться к их взглядам. Но ему это не удастся. Каждая такая попытка в конечном итоге все равно приводит его к выводу, что они идут путем, который он не может признать своим. Ему непонятен способ, каким немецкий дух через этих мыслителей ведет борьбу за этическое, идеалистическое мировоззрение.

И здесь снова сказывается его тесная связь с природой, определяющая широту и границы не только его творчества, но и его воззрений. По существу, он не может, как ни старается, идти одной дорогой с вышеупомянутыми философами, потому что они ставят мышление между человеком и природой. По этой причине «Критика чистого разума» Канта представляется ему, как он говорит, «грозной твердыней», которая не дает нам свободно, в единении с природой, отдаваться творчеству и размышлениям; поэтому спекулятивные философские системы он считает насилием над природой.

Сокровенная связь Гёте с природой и его чувство реальности не допускают подобного обращения с нею. Он благоговейно приближается к ней в надежде, что она хотя бы частично раскроет ему свои тайны и позволит обрести познание, заключающее

в себе силу жизни. Он весь устремлен к конкретной, этической натурфилософии.

Когда в «Поэзии и правде» он пишет: *«Именно незаурядным мыслящим и чувствующим натурам явилась светлая мысль о том, что непосредственное индивидуальное созерцание природы и основанный на этом образ действий — самое лучшее, что мог бы пожелать для себя человек и что совсем нетрудно осуществить»*, — то он имеет при этом в виду то мировоззрение, какое присуще и ему самому.

Он не хочет заставлять свою мысль кружить в придуманной бесконечности. Учение метафизики, как оно обычно формулируется, для него пустая словесная премудрость. Только та бесконечность, которая открывается ему при погружении в мир природы и в самого себя, обладает для него реальностью и значимостью. Одно из его изречений гласит:

Как в бесконечность сделать шаг верный? —

В конечную вещь вникни всемерно.

А как прекрасно другое:

— И все же — что есть бесконечность?

— Как можно так себя терзать?

Ступай в себя, а если не сыскать

Тебе и там бескрайность смысла, цели, —

Тебя ничто уж не исцелит.

Бога он тоже ищет не рядом с природой и не вне ее, но только в ней самой. Вслед за Спинозой, которого он чтит как своего учителя в области философии, он исповедует идею идентичности Бога

и природы. Он привержен убеждению, что Бог живет во всем сущем и все сущее живет в Боге. Истинность этого взгляда подтверждается для него мудрым древнегреческим изречением о том, что в Боге мы живем, движемся и пребываем, на которое, согласно преданию о деяниях апостолов, ссылается апостол Павел в речи, обращенной к афинянам в ареопаге. Это изречение слышится в гётевском исповедании Бога:

Ему пристало внутри мира деять,
В себе природу, в ней себя лелеять,
Всё, что живет, стремится, пребывает,
Ни сил своих, ни духа не лишая.

Суть благочестия Гёте видит в том, чтобы это данное человеку от природы и роднящее его со всеми живущими бытие в Боге превратить в духовное деяние. Он выражает эту мысль в захватывающих стихах:

Мы жаждем, видя образ лучезарный,
С возвышенным, прекрасным, несказанным
Навек душой сравниться благодарной,
Покончив с темным, вечно безымянным,
И в этом — благочестье!

Так как он знает одно — то, что он неразрывно спаян с природой и Богом, — Гёте не нуждается в искусственно построенном, до тонкости разработанном мировоззрении, он готов довольствоваться незавершенным — и не поддающимся завершению. Он хочет обогащать свой ум исключительно теми истинами, которые может добыть

абсолютно честным путем. Он надеется, что сможет ими обойтись.

Эту свою мысль он поясняет словами: *«В области конечного — исследовать все стороны познаваемого, в области познаваемого — дойти до прафеномена, непознаваемое же просто принять со смиренным почтением»*. Он отваживается не идти дальше признания того факта, что *«природа — это жизнь и последовательное движение от неизвестного центра к непознаваемому пределу»*, и остаться при глубоком убеждении, что *«в живой природе не происходит ничего такого, что не было бы неразрывно связано с целым»*.

В своем отказе от законченного мировоззрения Гёте был в ту эпоху одинок. Его время приходится на десятилетия, когда спекулятивная философия, смело берясь отвечать на все коренные вопросы, правит умами и считается высочайшей и конечной формой мышления.

Но каким образом находит Гёте в натурфилософии место для этики? Ведь большая проблема для всех адептов натурфилософии — для него самого, как и для стоиков, как и для Спинозы, как и для Лао-Цзы, китайского мыслителя, с которым у него так много точек соприкосновения, — состоит именно в том, чтобы от природы прийти к нравственности.

Здесь Гёте идет очень простым путем. Он не видит смысла в предпринимаемых в его время всевозможных попытках дедуцировать и мотивировать этическое начало, а принимает идеи нравственности, появляющиеся у человечества, как откровение

природы. Ибо, говорит он, не только в физических, но и в нравственных феноменах раскрывается нам Бог-природа. Идеи, формирующиеся в человечестве, суть тоже не что иное, как манифестация природы, — постольку, поскольку история человечества является частью эволюции природы. Поэтому для Гёте не подлежит сомнению, что каким-то необъяснимым для нас образом первооснова мироздания одновременно является первоосновой любви и что эта любовь из бесконечности принимает в нас участие и хочет стать действительной силой в нас. Поэтому мышление Гёте наполнено воздухом любви, навеянным религией израильских пророков и религией Иисуса Христа. Еще задолго до Ницше он ощутил большую проблему в том, как соотносить стремление человека облагородить себя, то есть стать самим собой, с его стремлением стать добрым, и — в этом его особое значение для философии! — нашел для нее простое решение: стать поистине самим собой не может означать ничего другого, как стать истинно добрым. Это гётевское понимание благородства как всеобъемлющего добра овладеет умами человечества лишь после того, как выступление Ницше с протестом против рожденного человечеством традиционного понимания добра станет всего лишь напоминанием о XIX веке.

И каким же видится этическому мыслителю Гёте идеал совершенного человека? Очень и очень простым. Обратите внимание, какую скромную задачу ставят перед собой под конец жизни Фауст

и Вильгельм Мейстер. Фауст, который прежде требовал от мирового духа доскональных познаний о мироздании, кончает тем, что отвоевывает у моря участок земли, чтобы она рождала для людей плоды. А Вильгельм Мейстер осознает, что его предназначение — служить лекарем у переселенцев.

Гётевский человек, о котором так много и так невнятно говорят, — кто он? Он тот, каким стремится стать в своей жизни сам Гёте: человек, пришедший к самоосознанию, он же человек дела и как таковой — сильная, но при этом скромная личность.

Себе будь верен — и другим.

Будь любовь — твоё стремленье,
Жизнь твоя — любовь к трудам!

Только тот поймет Гёте, кем завладеет этот глубокий и простой гуманистический идеал, кого коснется дух смирения, ведущего к деятельной жизни, — откуда и родился этот идеал.

* * *

Поэт и мыслитель Гёте предстает перед нами как универсальная личность: ведь он активно проявляет себя в практической сфере и на поприще естествознания.

Раньше интерес исследователей Гёте привлекало исключительно его литературное творчество, тогда как его практическая деятельность и его значение как

естествоиспытателя не встречали должного внимания. Лишь в последние десятилетия, когда изучение наследия Гёте открыло новые данные о его жизни и творчестве, для нас тоже стало привычным вновь видеть его таким, каким он был для всех, кто окружал его в Веймаре.

Что касается деятельности Гёте на посту министра, управляющего делами Веймарского герцогства, то дело обстоит совсем не так, как это привыкли себе представлять: будто поэт, который попутно занимает должность при дворе, уделяет ей ровно столько внимания, сколько пожелает. На самом деле он очень усердно исполняет свой служебный долг. С каким рвением он с самого начала принимается за приведение в порядок финансов герцогства! Даже после возвращения из Италии, когда с него снимают часть обязанностей и в его ведении остаются только те административные органы, которые имеют отношение к искусству, науке и просвещению, он отдает службе много сил и времени. Какое впечатление производит на гостя, посетившего Гёте в последние годы его жизни, то, что он застаёт его за ведомостями посещаемости школ во всех населенных пунктах Веймарско-Саксонского Великого герцогства и хозяин тотчас же сует ему в руку перо, предлагая принять участие в подсчетах и убедиться в том, что общая посещаемость школ возросла и что в горных районах дело обстоит с этим лучше, нежели в равнинных!

Изыскания в области естественных наук тоже являются для него не любительским занятием и не

развлечением, а жизненным призванием. На свои естественнонаучные труды он потратил больше времени, чем на создание художественных произведений.

Итак, перед нами удивительная личность, в которой человек дела и человек науки проявляются с той же силой, что и поэт.

Это говорит об универсальности гения Гёте, и поэтому в нем принято чтить последнего великого представителя Ренессанса. Однако это не совсем так. Конечно, разносторонность его дарования, его отношение к природе, его горячее стремление к правде и самостоятельность его научных исследований — все это сближает его с некоторыми великими личностями эпохи Возрождения. Однако в его умонастроении нет места для духа энтузиазма, мятежности и революционности, и этим, как и вообще всей своей духовной организацией и серьезным отношением к жизни, он коренным образом отличается от них; в этом смысле он в гораздо меньшей степени человек эпохи Возрождения, нежели, скажем, Лейбниц.

Универсальность дарования проявляется у Гёте также совсем по-иному, чем у представителей Ренессанса. В человеке эпохи Ренессанса многогранная одаренность вспыхивает спонтанно, как бы от самовозгорания, и он с наслаждением отдается поглощающей уйму сил разносторонней деятельности, доводя себя до полного изнеможения. Дарование Гёте, как мы знаем от него самого, приводят в действие его собственные раздумья и требования, которые предъявляет к нему жизнь.

О том, что природа наделила Гёте незаурядными практическими способностями, хорошо известно ему самому, равно как и всем окружающим. В 1774 году, то есть за год до того, как он принял приглашение в Веймар, Лафатер пишет: «Гёте мог бы великолепно вести дела у какого-нибудь герцога; именно там его место. Он мог бы быть королем».

И вот, достигнув вершины в своих первых поэтических опытах и уже купаясь в лучах славы, он оказывается перед вопросом: чем заниматься во время длительных пауз, которые, как он уже знает по опыту, вклиниваются между периодами творческого подъема? Так он приходит к решению «*посвятить себя*», как он сам говорит, «*мирским делам, чтобы использовать до последней капли все свои силы*».

Многочисленные административные обязанности, которые он усердно исполняет с 1775 года в течение свыше десяти лет, требуют, чтобы он ведал дорожным строительством, горными разработками, работами по регулированию рек, развитием сельского и лесного хозяйства. Эти работы заставляют его все больше и больше общаться с природой, и это после того, как еще в Лейпциге и Страсбурге он почувствовал влечение к естественным наукам, которое подогревалось общением с медиками. Со временем он настолько сближается с природой, что она полностью завладевает его душой. Его занимает все, что имеет отношение к природе: ботаника, минералогия, геология, сравнительная анатомия, физика, химия.

Идя собственным путем — поступать иначе ему не позволяют его наклонности, — он приходит к

результатам, которых современная ему наука достигает своими путями. Некоторыми познаниями он ее опережает, в частности своим наблюдением, которое впоследствии было подтверждено естествознанием: что в природе все формы бытия взаимосвязаны и с творческой закономерностью вышли одна из другой.

В борьбе с общепринятым в те времена мнением, будто абсолютно все горы имеют вулканическое происхождение, он тоже оказался прав. Не будучи в плену тогдашних спорных взглядов, мы в состоянии справедливее, нежели его современники, судить о достижениях Гёте, отраженных в его естественнонаучных трудах, и можем с полным правом говорить, что они достойны его гения.

Гёте был выдающимся наблюдателем.

Но не слишком ли мешала деятельность чиновника и естествоиспытателя развитию живущего в нем поэтического дара? И не осталось ли из-за этого несозданным многое, что мог бы создать только поэт Гёте? Если он лишь в последние годы собирает с силами, чтобы уже неуверенной рукой довести до конца «Фауста» и «Вильгельма Мейстера», то, безусловно, причина именно в том, что чиновник и естествоиспытатель не давали ему возможности сделать это раньше. Но разве тот факт, что эти произведения не возникли в едином порыве, не уравнивается другим фактом — тем, что они, как две реки, отражают поток переживаний и мыслей Гёте с самых юных лет и до глубокой старости?

Нельзя забывать, что поэт обязан естествознанию, по крайней мере, одним подарком судьбы. Благодаря ему он подружился с Шиллером. Если бы на том памятном заседании Йенского естествонаучного общества он не повстречался с Шиллером, которого прежде сторонился, считая его чересчур революционно настроенным, то они, вероятно, никогда не сблизились бы. А сколько прекраснейших строк осталось бы в его душе, так и не родившись, если бы не эта дружба, только благодаря которой, как признает он сам, он вновь стал поэтом!

Так что оставим рассуждения о том, уравновешивается ли достижениями Гёте на служебном поприще и его вкладом в развитие естествознания то, чего он из-за этого, возможно, не успел сделать как поэт. Важно только одно — то, что он и в этом оставался самим собой и с глубокой серьезностью шел тем единственным путем, каким должен был идти согласно своей природе. То, что великий поэт, чем бы он ни был занят — государственной службой или естествонаучными изысканиями, — предстает перед нами как человек, не отличающий дел великих от незначительных, ибо всё, что он делает, делается добросовестно и с самоотдачей, — это уже само по себе представляется такой волнующей, полной жизни поэзией, что ее не уравновесила бы та другая, несозданная поэзия, которую он мог бы подарить нам взамен. Ведь самое ценное в человеке, как бы велики ни были его творческие дарования, — это всегда он сам.

Таким образом, особенное величие универсальности Гёте состоит в том, что это универсальность цельного и серьезного человека.

*

И, наконец, последнее. С каким заветом обращается Гёте к нам — человечеству, терпящему жесточайшие бедствия? Есть ли у него вообще завет для нас?

Да, есть.

Когда человек своим мышлением обращен не к людям данной эпохи, не к современному ему обществу, но к человеку как таковому, — а Гёте это свойственно как никому другому, — это несет в себе нечто возвышенное, стоящее над временем. Общество есть нечто меняющееся во времени; человек же — всегда человек.

Поэтому Гёте к сегодняшнему человеку обращается с тем же призывом, что и к тогдашнему, что и к человеку всех времен: стремись к подлинной человечности; стань самим собой — человеком, сознающим себя самого, — человеком дела, в соответствии с твоей собственной природой.

Но вот вопрос: возможно ли еще в страшных условиях нашего времени сделать реальностью такого рода личный гуманизм? Располагаем ли мы необходимой предпосылкой для этого — минимумом материальной и духовной независимости отдельной личности? Ведь условия нашего времени таковы, что современный человек почти полностью

лишен материальной независимости, а его духовная независимость поставлена под серьезнейшую угрозу. Как бы ни менялось наше положение, оно с каждым днем становится все менее естественным, а человек во всех отношениях все менее принадлежит природе и себе самому и все более подчиняется обществу.

И тут возникает вопрос, который еще полпоколения назад мы сочли бы нелепым: есть ли еще смысл держаться за идеал личного гуманизма, если вся действительность обращена против него, или, может быть, наоборот, стоит настраивать себя на стремление к новому идеалу человечности, согласно которому человеку надлежит совершенствовать свою природу совсем в ином направлении — добиваться полного растворения своей индивидуальности в организованном обществе?

Но что же это, как не отрыв от природы, которую мы, подобно Фаусту, в жесточайшем заблуждении отторгаем и вверяем враждебной ей неестественности?

Вообще все то, что творится в наше страшное время, — разве это не повторение в исполинских масштабах драмы о Фаусте на подмостках мира? Тысячекратным огнем пылает хижина Филемона и Бавкиды! Тысячекратное насилие, многотысячные убийства — вот методы, которыми бесчеловечная идеология ведет свою преступную игру! В тысячах и тысячах личин узнаем мы издевательскую ухмылку Мефистофеля! Тысячами способов человечество было доведено до отречения от естественной связи

с действительностью и до поисков спасения в заклинаниях какой-нибудь социальной и экономической магии, которая самую возможность выбраться из социальной и экономической безысходности отодвигает всё дельше!

Грозный смысл этих магических заклинаний, от какой бы социально-экономической идеологии они ни исходили, всегда состоит как раз в том, чтобы заставить человека отказаться от своей собственной, личной материальной и духовной жизни и существовать исключительно как член сообщества, безраздельно распоряжающегося им материально и духовно.

То, что такое направление развития экономических отношений когда-нибудь станет реальной угрозой для материальной независимости отдельного человека, Гёте не мог предвидеть. Но вместе с тем какое-то необъяснимое предчувствие подсказывает ему, какую опасность таит в себе внедрение в человеческую жизнь машины — процесс, который при нем уже делает первые шаги, и какой угрозой для духовной независимости отдельной личности обернется в будущем всеподчиняющая воля масс. В этом предвидении кроется причина его неборимой неприязни ко всякой революционности. Революционность для него — это массовая воля, которая стремится подчинить себе волю отдельного человека. Свидетель Французской революции и войны за освобождение Германии, когда впервые заявила о себе воля масс, он ясно осознавал, что вместе с массовой волей на поверхность

выходит нечто такое, что повлечет за собой самые непредсказуемые последствия. Отсюда неопределенность его позиции в отношении освободительных войн, которая стала поводом для многочисленных кривотолков. Конечно, он желает свободы для своего народа, но воля масс, добывающихся ее, представляется ему чем-то зловещим. Это известно из его беседы с йенским профессором истории Людемом, состоявшейся в 1813 году, когда он с глубоким волнением высказал мысли, которые обычно таил про себя.

Гёте — первый, кто испытывает некий страх за человека. В те времена, когда все другие еще смотрят на мир без опаски, ему уже смутно видится проблема, которая возникнет в грядущем, — проблема возможности индивида отстоять себя в условиях господства масс. В этом провидческом страхе, который он носит в душе и который стоит за многими негодующими высказываниями, послужившими поводом бросить ему упрек в реакционности и в непонимании знамений времени, заключен и страх за свой народ. Он знает, что ни один народ, отрехшись от своей духовной независимости, так сильно не оскорбит своей природы, как его народ, который он с такой трепетной гордостью любит. Он ведь знает, что глубокая связь с природой, духовная активность и потребность в духовной независимости, свойственные его натуре, — это проявление в нем самом души его народа.

И теперь, через сто лет после его кончины, мы пришли к тому, что в силу свершившихся событий,

повлекших за собой пагубную материальную ситуацию, которая повлияла на весь ход экономической, социальной и духовной жизни, материальная и духовная независимость отдельного человека повсеместно если еще не уничтожена, то находится под страшной угрозой. Столетие со дня смерти Гёте мы встречаем в роковой час жестоких испытаний, выпавших на долю человечества. В этот роковой час он, как никакой другой поэт или мыслитель, призван говорить с нами. Как самый далекий от современности человек смотрит он на наше время, потому что не имеет ничего общего с духом нашего времени. Как самый близкий к современности человек он обращается к нашему времени с советом, потому что должен сказать то, что нам необходимо услышать.

Что же он говорит нашему времени?

Он ему говорит, что зловещая драма, разыгрывающаяся на его сцене, может прийти к концу лишь при одном условии — если оно уберет со своего пути социально-экономическую магию, которая его околдовала, забудет заклинания, которыми одурачивает себя, и проявит решимость любой ценой вернуться к естественным отношениям с действительностью.

Каждому отдельному человеку он говорит: не поступайся идеалом личной человечности, даже если он противоречит сложившимся условиям. Не допускай его гибели, даже если он больше не представляется незыблемым разным оппортунистическим теориям, которые просто стараются приноровить духовное к материальному. Оставайся человеком

с собственной, неповторимой душой! Не становись живой вещью, душа которой, как и у других, одинаково настроена на массовую волю и пульсирует в такт с ней.

Не все в истории обречено на постоянные изменения, как это может показаться при поверхностном подходе, но обязательно случается и так, что идеалы, несущие в себе свою непреходящую правду, вступают в спор с меняющимися условиями и в этих условиях становятся прочнее и глубже. Таков идеал личной человечности. Если он будет предан, то человек как духовная личность погибнет, что было бы равнозначно гибели культуры и даже гибели человечества.

Поэтому в наше время есть глубокий смысл в том, чтобы обратить свои взоры на Гёте, провозвестника идеала истинного и благородного личного гуманизма, и всеми способами доносить до людей его мысли. Пусть слова «Будь самим собой», которые слышатся в них и приобретают в этот роковой час человечества значение всемирно-исторического пароля, придадут нам мужества, чтобы мы смогли противостоять духу нашего времени и в тяжелейших условиях сберечь для себя и для других как можно больше возможностей проявления истинной человечности. И пусть все мы — ибо от этого всё зависит! — каждый из нас, — в пределах отпущенных нам возможностей претворим в жизнь простую заповедь человечности «*Благороден будь, скор на помощь и добр*», чтобы эти слова жили среди нас не только как изреченная мысль, но и как действенная сила.

Гёте как мыслитель и человек
Доклад, прочитанный
в Ульме
в июле 1932 года

Гёте был мыслителем. Это становится ясно каждому, кто соприкасается с его жизнью и творчеством. Во многих его поэтических произведениях звучат мировоззренческие вопросы.

Однако, будучи мыслителем, Гёте не желает иметь никакого отношения к мыслительным системам. С гордостью он заявляет, что сумел кое-чего достичь потому, что никогда не размышлял о самом мышлении. Так что он питает определенную неприязнь к тому, что принято называть философией.

Как он пришел к этому? При первом же знакомстве с философией эпохи Просвещения, сначала в Лейпциге, затем в Страсбурге, он испытывает некоторое недоверие к ней. У него возникает такое ощущение, как будто то, что ему рассказывают о ней в университетах, он, собственно говоря, уже и раньше знал. Отпугивает его в этой философии XVIII века то, что ее понятие этического не очищено и она постоянно пытается, порой весьма

поверхностным образом, обосновать и истолковать этическое как полезное. Не вызывают у него симпатии мыслительные системы XVIII века и по той причине, что они мнят себя способными объяснить всё и не допускают существования тайны. В этом он видит признак отсутствия в них глубинных понятий о сути бытия и о сути этического.

Так еще пору своего пребывания в Страсбурге Гёте отторгает просвещенческую философскую мысль. Поводом для разрыва становится его неприятие Вольтера. В мышлении Вольтера его отталкивает, что тот, стремясь одержать верх над церковью, высмеивает многие эпизоды из Библии. Конечно, Гёте и сам знает, что в документальных свидетельствах христианства духовное и этическое не всегда представлено с одинаковой прозрачностью и глубиной. Но как документы христианской веры книги Библии для него священны. Он не терпит, когда о них говорят непочтительно. Так под влиянием французских просветителей антипатия к философии его времени превратилась у него в ее полное неприятие. Вообще о философии в том виде, как ее преподают в университетах, он не желает слышать. В «Поэзии и правде» он признается, что сам он и его друзья стремятся вновь целиком погрузиться в мир природы.

Они хотят увидеть, что из этого выйдет. В эпоху расцвета новой, смелой философии, свидетелем которого был Гёте, всякий раз, сталкиваясь как-либо с той или иной философской системой, он задает ей три вопроса. От того, какой ответ дает на его

вопросы мышление, движущееся в рамках этой системы, зависит его отношение к ней.

Вопрос первый. В какой мере может мышление при помощи данной системы непредвзято подойти к природе и дать человеку непосредственную, гармоничную связь с ней? Вопрос второй. В какой мере это мышление приблизилось к понятию этического? Вопрос третий. В какой мере, стараясь проникнуть в главные вопросы бытия и разрешить их, оно готово признать, что стоит перед тайнами, снять завесу с которых ему полностью никогда не удастся?

Знакомясь с великими философскими системами, Гёте изо всех сил старается вчувствоваться и вдуматься в них. Иногда он прямо-таки принуждает себя к этому. Изучая труды великих мыслителей своего времени, он ощущает, что находится не вполне во власти своей естественной неприязни к философскому мышлению. В письме к Цельтеру он однажды прямо говорит, что естественная неприязнь, которую питает к философскому мышлению каждый человек, ориентированный на эмпирическую науку, не должна вырождаться в стойкую неприязнь, напротив, она должна постепенно раствориться в разумной, спокойной склонности мыслить.

Каково же его отношение к мыслителям, с которыми он соприкасается в своей жизни? Первым мыслителем, чье влияние он испытал, был Гердер, с которым он познакомился в Страсбурге в 1770 году. В лице Гердера он встречает человека, который

отошел от слишком рассудочного мышления XVIII столетия и придерживается убеждения, что для того, чтобы сколько-нибудь понять природу, необходимо вчувствоваться в нее, глубоко ей сопереживая. Гердер, истинно исторический ум, занимавшийся проблемами духовной истории человечества и происхождения языка, открывает перед Гёте горизонты, о которых тот и не догадывался. Гёте благодарен Гердеру за импульс, который получил от него.

Вернувшись из Страсбурга во Франкфурт, Гёте находит своего настоящего учителя в лице Спинозы. Спиноза в своих рассуждениях высказывает смелую мысль, что Бог и природа существуют друг в друге, а не рядом друг с другом. В своем главном труде «Этика» он, рассуждая о Боге и природе, одновременно пытается достичь понимания сущности добра.

Что притягивает Гёте в учении Спинозы? То, что он находит у него ясно выраженную мысль, которая жила и в нем самом, — мысль о том, что Бог и природа суть одно целое, что Бог действует в природе и открывается в ней. Далее, он ценит в философии Спинозы то, что, согласно его учению, этика заключается в стремлении человека к самосовершенствованию, к которому он и предназначен. То есть никаких соображений утилитарности, о которой трактует философия XVIII века. Счастье состоит в обретении самосознания. Благодаря Спинозе Гёте оказывается обращен к самому себе. Он переживает очищение. Его чрезмерно кипучий нрав укрощается.

Спросим себя: что было бы с молодым Гёте в решающий момент его жизни после возвращения из Страсбурга, если бы не суровое воспитание, которому подверг его дух Спинозы?

И вот, весь во власти учения Спинозы, он поначалу довольно мало интересуется философией своего времени. Об этом у нас есть свидетельство Шиллера. В 1787 году, когда Гёте находится в Италии, Шиллер приезжает в Веймар и пишет Кёрнеру пространное письмо, в котором высказывается о Гёте и его друзьях. Он говорит, что у Гёте и его единомышленников нет охоты возиться с философией и что их обуяло доведенное до аффекта чувство привязанности к природе. Что Гёте и его друзьям присуща какая-то детская простота ума. Им милее искать минералы, чем предаваться философским спекуляциям.

Однако же год спустя, когда Гёте возвращается из Италии, ему приходится заняться философией. Ибо в Йенском университете преподается кантовская философия.

Вышла в свет «Критика чистого разума». Основная мысль философии Канта состоит в том, что мы видим вещи не такими, каковы они на самом деле. Каковы они в действительности, остается для нас непознаваемым. Чувственный мир мы должны принимать не как действительность, а только как явление вещей в пространстве и времени. Вникнуть в это учение — вот над чем бьется теперь Гёте. Из письма к Виланду, написанного в феврале 1789 года, мы узнаем, что он очень усердно штудирует

великий трактат Канта. В 1794 году завязывается его дружба с Шиллером. Эта дружба побуждает его продолжить изучение Канта. Шиллер настолько поглощен философией Канта, что едва не утрачивает самого себя. Ради Шиллера Гёте пытается овладеть Кантовой теорией познания. Ему это никак не удастся. Все снова и снова возвращается он к своему естественному реализму — к тому, чтобы видеть в вещах реальность и заниматься ими как таковыми. В 1813 году, в речи, посвященной памяти Виланда, он говорит, что покойному, как и ему самому, выдающийся труд «Критика чистого разума» представлялся неприступной твердыней, призванной воспрепятствовать непосредственному общению людей с миром природы. Однако в этом труде он находит нечто, вызывающее у него симпатию к Канту, — учение о категорическом императиве. Кант не пытается обосновывать добро соображениями полезности. Для него добро — нечто гораздо более глубокое. Так что в Канте Гёте видит своего союзника в борьбе против поверхностного понимания добра.

После Канта немецкая философская мысль претерпевает удивительное превращение. Появляется ряд философов, в чьем мышлении присутствует нечто фантастическое. Понять ход их мыслей нелегко. Они стремятся постичь логическую необходимость того, что чистое, вневременное, целокупное бытие, развиваясь, преобразуется в многообразное бытие, протекающее во времени. Предпринимая эти попытки, они руководствуются тем

соображением, что познание сущности и смысла такого развития бытия содержит в себе познание смысла нашей жизни.

Крупнейшими представителями этой так называемой спекулятивной философии являются Фихте, Шеллинг и Гегель. Гёте изучал системы всех троих. Сам он относится к такому философствованию отрицательно. Ведь его девиз — жить в естественном согласии с природой. Здесь же между человеком и природой ставится некое фантастическое мышление. Однако его привлекает результат, к которому приходит такое мышление: вывод, что бесконечное развертывается в могучей и многоликой природе.

Чем-то титанический дух этой философии притягивает Гёте. Он чувствует, что его роднит с ней ее целеустремленность. Что же касается метода, каким достигается цель, то тут Гёте идет собственным путем. Познание, которого эти мыслители стараются достичь посредством построения смелых философских систем, он надеется обрести в результате погружения в природу.

С Фихте Гёте не ощущает внутренней связи. Он видит в нем слишком бурную натуру. С Шеллингом же он дружен. У Гегеля ему импонируют обширные исторические познания. За это он готов простить ему чудовищный язык, каким он излагает свои мысли. Он называет Гегеля человеком выдающимся, который многое даже формулирует замечательно, если только, вникая в его формулировки, перевести их на свой собственный язык. И все же

Гёте твердо стоит на том, что такое философствование не имеет под собой прочной основы. И в то время как весь окружающий мир живет с верой в то, что это смелое логическое мышление достигло небывалых доселе высот познания, он знает, что это момент преходящий и что мышление неизбежно вернется к конкретной проблеме бытия, каким оно предстает перед нами в природе. Гёте оказался прав. В 1848 году эта философия рухнула.

Итак, Гёте интересовался всеми направлениями философской мысли, с какими сталкивался на протяжении своей долгой жизни. Ни в одном не нашел он ничего приемлемого для себя; но из добросовестности он старался через чужое мышление прояснить свое собственное.

Каковы же те мысли, которые составляют мировоззрение Гёте? Он никогда не излагал их в виде связной системы. Мы находим их рассеянными во всем, что он написал. Но они совершенно естественно складываются в единое целое. Его мысли суть самая простая натурфилософия. К истине, считает он, мы приходим тогда, когда не домысливаем что-то к природе, а обращаемся к ней без наперед готового мнения, погружаемся в нее и чутким ухом стараемся уловить, не приоткроет ли она нам хоть какую-нибудь из скрытых в ней тайн. Если постоянно предаваться этому занятию, то сколько бы мы ни почерпнули у нее, — того, что мы в ней открываем, вполне достаточно, чтобы осветить человеку жизненный путь и дать пищу его уму. Мы должны изначально быть готовы к тому, что этот

путь не приведет нас к исчерпывающему миропониманию и что, в отличие от тех, кто придумывает системы, нам придется жить в недостроенном доме. Исходить следует из мысли, что раз природа — это всё, то истинно глубокое познание Бога достигается благодаря тому, что мы ищем Бога в природе и усваиваем представление о том, что Он — во всех вещах и все вещи — в Нем. Они существуют в Нем, прежде всего, естественным образом. Все, что происходит, является выражением непостижимой для нас сущности Бога как первоосновы бытия. Мотив познания существа Бога через природу и собственной причастности к Нему звучит в очень многих стихотворениях Гёте. Он не говорит тут ничего нового. Мистика всех времен — древности, Средневековья, Нового времени — основывается на этой мысли. Своеобразие Гёте состоит в том, что он высказывает ее как следствие живого восприятия природы, как вывод глубинного естествознания. Он — мыслитель, предающийся естественно-научным занятиям.

Для его отношения к природе характерно то, что он подходит к ней с глубокой серьезностью. В этом он стоит выше мыслителей эпохи Возрождения.

О своем отношении к природе Гёте, уже в старости, говорит следующее: *«Природа всегда серьезна. Она всегда сурова. Она всегда подлинна. Любые заблуждения всегда исходят от человека. Перед убогим природа замыкается, и только способному объять ее, настоящему, чистому она с готовностью отдает себя, раскрывая ему свои тайны».*

Для мировоззрения Гёте характерны правдивость и простота. Принимая за исходный момент природу, он погружается в нее. И тут перед ним возникает вопрос, к которому приходит любая натурфилософия: каким образом через познание природы прийти к идее этического? Натурфилософии приходится прилагать все усилия для разрешения этой проблемы. Гёте тут поступает просто. По его мнению, этическое начало заложено в природе, и в ней осуществляется его развитие. Он сказал как-то раз, что в природе существует не одна только физическая эволюция; история человеческого духа тоже не есть что-то обособленное, но представляет собой движение вперед в рамках эволюции природы в целом. Подобно тому как меняется строение растений и животных, не стоит на месте и духовная жизнь, которая развивается согласно заложенному в ней плану. Если у библейских пророков и у Иисуса Христа идея этического выступает в виде идеи любви, то это значит, что идея любви присутствует в самой первооснове бытия и что Бог, который блюдет природу и в котором мы видим созидательную силу, одновременно является первоосновой любви. Опытное познание, то есть наблюдения над природой, приводит нас к заключению, что добро — вовсе не какая-то фантазия, а нечто свойственное самой природе, восходящее к Богу, и, следовательно, что человек соответствующим ему образом развивается тогда, когда он добр.

Хотя мы не видим в природе признаков любви, любовь в природе существует. Она нашла свое выражение в духовной эволюции человечества.

Поэтому человек, осознавший, что его отношение к природе носит этический характер, понимает, что и по своей духовной сути он причастен к Богу, что через любовь он пребывает в Боге и тем самым исполняет предназначение своей жизни. По Гёте, большего человеку знать не нужно. Гёте смиряется с неизбежностью жить в доме, которому не суждено быть достроенным. Как только человек обретет уверенность, что ему предназначено быть этическим созданием, он может оставить открытыми все прочие вопросы, если не в состоянии их решить. Свой отказ от их решения Гёте формулирует кратко: в области конечного надлежит изучать исследуемое вплоть до последней поддающейся изучению грани, познаваемое прослеживать вплоть до прафеноменов, в которых открывается Божество, а тайну непостижимого — смиренно уважать. По его мнению, мы здесь не для того, чтобы решать проблемы природы, а для того, чтобы увидеть, где эти проблемы начинаются, и тем самым облегчить себе поиски пути в мире познаваемого.

Гёте, таким образом, освобождает себя от необходимости заниматься тем кругом вопросов, которые обычно считаются мировоззренчески важными, и от попыток их разрешения. Так, он считает, что ему незачем вдаваться в проблему взаимоотношений между вечным и временным. Ему достаточно знать, что во всем временном проявляет себя

вечное. Точно так же относится он к проблеме взаимоотношений между духовным и материальным. Тут он удовлетворяется той мыслью, что во всем материальном открывается духовное и что между материальным и духовным началом существует такого же рода взаимосвязь, как между природой и Богом. В мысли о том, что вечное дано во временном и что нет надобности блуждать за пределами природы, Гёте находит необычайное умиротворение. И он говорит:

Как в бесконечность сделать шаг верный? —
В конечную вещь вникни всемерно.

И еще:

— И все же — что есть бесконечность?
— Как можно так себя терзать?
Ступай в себя, а если не сыскать
Тебе и там бескрайность смысла, цели, —
Тебя ничто уж не исцелит.

По его мысли, человек должен глубоко погружаться в природу, а не воспарять над ней. В этом он был в свою эпоху одинок.

Есть еще вопрос, который он считает возможным оставить без ответа: это вопрос о жизни после смерти. Гёте несет в душе веру в бессмертие. Ибо все временное для него — лишь форма проявления вечного. Как-то раз в одной беседе он замечает: *«Я живу совершенно спокойно, так как знаю, что человеческая сущность непреходяща»*. Но каким образом и в какой форме она непреходяща, — это для

него тайна. Мы можем — считает он — размышлять на эту тему; но если попытаться представить себе, что мы бессмертны, мы неизбежно столкнемся с противоречиями, мешающими нам додумать свою мысль до конца. Что мы знаем о нашей жизни после смерти с некоторой долей достоверности, так это то, что она продолжится. Если что-либо достоверно, так это то, что Бог назначил каждому отдельному человеческому существу деятельную активность, которая не начинается в этой жизни и не кончается вместе с ней, но длится бесконечно. Иногда мы наблюдаем у Гёте попытки представить себе эту бесконечную деятельную активность. По пути домой с похорон Виланда, будучи в состоянии сильного душевного волнения, он в порыве откровенности заговорил о том, как он пытается представить себе вечную жизнь. Но тут же добавляет, что всё это — лишь смутные мысли. Истинная вера человека в бессмертие не в том, чтобы мучиться тоскливой жаждой бессмертия. По Гёте, человеку надлежит оправдать свою веру в бессмертие деятельной активностью в этом мире, чтобы через нее нравственно усовершенствоваться для вечной активности, назначенной ему Богом. В этом заключается простой смысл веры Гёте в бессмертие.

И, наконец, последний вопрос — вопрос мировоззрения. Мышление не может достичь завершённого мировоззрения, довольствуясь только познанием познаваемого, поэтому оно добавляет мысли, призванные помочь ему понять невидимое, понять

смысла мира, и тем самым совершает нечто недопустимое. По мнению Гёте, человек слишком ничтожен, чтобы указывать миру его смысл. В то время как все настаивают на необходимости делать это, чтобы понять смысл своих этических деяний в мире, Гёте в этом не нуждается. Он считает, что человеку предназначено быть этическим из внутренней необходимости. Ни одна вещь в мире не является целью ради какой-либо цели, но все вещи в мире являются целью сами по себе. Однако, — говорит Гёте, — в живой череде свершений каждое отдельное свершение одновременно связано со всей совокупностью вершащегося, иными словами, в мире не происходит ничего такого, что не было бы связано с целым. Следовательно, смысл мира исполняется тогда, когда отдельное человеческое существо исполняет свое назначение. Так что человек избавлен от необходимости достичь познания смысла мира. Ему надлежит сосредоточиться на мысли, что он должен исполнить назначение собственной жизни так, как он его ощущает. Смысл жизни в том, чтобы человек развивал все доброе, что в нем есть, и сопротивлялся злу, которое противодействует этому добру.

Предназначение человека — стать самим собой. По Гёте, это не может означать ничего иного, кроме как стать поистине добрым. Гёте считает, что понятие добра, возникшее в недрах духовной истории человечества и передаваемое из поколения в поколение, действительно всегда и везде, тогда как Ницше его вообще отвергает.

Главная роль в этике Гёте отводится понятию самосовершенствования, «становления благородным». Недаром изречение *«Благороден будь, скор на помощь и добр»* он начинает с этого понятия — в его представлении о добре именно ему принадлежит первое место. Человеку следует претворять в жизнь заложенное в его личности добро, и на этом пути он будет становиться самим собой в самом высоком смысле — вот в чем вся суть. По представлениям Гёте, никто из нас не должен гнуться под бременем понятия добра и рассматривать добро как возложенную на нас ношу. Мы все должны претворять в жизнь то добро, которое свойственно нашей индивидуальной сущности, то есть каждый должен становиться добрым как личность, — не все в одинаковых проявлениях, а каждый по-своему, исходя из индивидуального нравственного понятия. Этическое для Гёте — нечто общезначимое, однако всегда имеющее индивидуальный облик. Для Гёте лично это было самосовершенствование в его понимании, «самооблагораживание». Исконными его добрыми качествами были правдивость, искренность, незлобивость. В том, что он, при всем своем человеческом несовершенстве, хотел быть и был таким, ему нельзя отказать. Каждый, кто вникнет в его жизнь, будет до глубины души тронут его неотступным стремлением реализовать в своей жизни качества, дарованные ему Богом, — правдивость, искренность и незлобивость. Никогда Гёте ни единым словом не реагировал на многочисленные явные и скрытые нападки, с которыми ему приходилось встречаться.

На все проявления враждебности он отвечал тем, что спокойно и мирно шел своим путем.

Обратим внимание на его безграничную искренность. Он неукоснительно идет своим путем. Его упрекают в том, что он якобы относится к деятельной любви без достаточного понимания, что ему не хватает энтузиазма. Но пусть кажется, что деятельная любовь светит у него неярко и неброско, — на самом деле она жарко пылает в его душе. Он претворил в жизнь ту любовь, которая была свойственна именно ему. Он питает неприязнь ко всякому энтузиазму. Его идеал — уравновешенность. Он не хочет требовать от человека, чтобы тот в порыве энтузиазма пожелал стать иным, чем его создала природа. Внутренняя жизнь для Гёте выше энтузиазма. Поэтому он выступает против этики своего знаменитого современника, англичанина Бентама, согласно которой индивид должен находиться на службе у сообщества, чтобы своей деятельностью приносить наибольшее благодеяние наибольшему числу людей. Он бранит Бентама старым глупцом за то, что тот, отказывая индивиду в праве жить и трудиться как индивид, нарушает естественные отношения между индивидом и сообществом. Высшая степень любви в мире, считает Гёте, может быть достигнута не благодаря постоянному вынужденному отречению от собственной сути, а благодаря тому, что каждый будет претворять в жизнь ту особенную любовь, которая свойственна именно ему. Тогда в мире будет намного больше любви, исходящей естественным образом

от любого конкретного человека, и тем самым намного больше счастья, нежели в том случае, если заставить человека отказаться от своей индивидуальности и быть всего лишь чем-то существующим исключительно ради общества. В этом состоит суть борьбы между Гёте и Бентамом.

Человеческое мышление не движется вперед, если люди не продумывают зародившуюся у них мысль во всей ее подлинности и чистоте. Гёте и Бентам — два противоположных полюса этического мышления. Ибо Гёте не был, как порой говорят, большим эгоистом. Он был скован, неловок, застенчив. Эти свойства он прятал под маской величественности. Но по своей внутренней сути он оставался скромным и чутким человеком. Теперь, когда опубликовано почти все, что содержится в архивах и в письмах, мы знаем его жизнь и особенности его натуры и можем сказать, что он не отворачивался ни от кого, кто в нем действительно нуждался. Он не жалел ни времени, ни денег, чтобы оказывать поддержку людям. Сталкиваясь с неблагодарностью, он молча проходил мимо. От его врача Фогеля нам известно, что Гёте предоставил ему средства для оказания помощи нуждающимся. Если среди пациентов Фогеля оказывались бедняки, тот мог не ограничиваться подаянием в несколько талеров, но выделить им из этих денег значительные суммы, размер которых определял сам по своему усмотрению. До самой своей кончины Гёте не переставал кому-нибудь помогать. Конечно, он порой озадачивает своей внешней холодностью. Но те, кто знал

его ближе, свидетельствуют, что ему тем не менее была присуща живая, деятельная любовь. Его идеал — это такой человек, который идет путем самоосознания и как таковой несет в себе любовь, призванную проявиться в нем на деле.

Мировоззрение Гёте включает в себя смирение. Причем также и в том смысле, что действовать надлежит не ради успеха, а просто из внутренней необходимости. Эту мысль он однажды прекрасно выразил на примере евангельской притчи: подлинный, предназначенный для деятельности человек должен быть подобен сеятелю, который разбрасывает семена во все стороны, не заботясь о том, где и как они взойдут. Так он понимал смысл этой притчи.

Таковы главные черты мировоззрения Гёте, которое он никогда не излагал в виде системы. Это мировоззрение, несомненно, оказало бы влияние на его время, если бы он превозмог себя и представил его как единое целое. Но сам он видит свою миссию в том, чтобы весь свой трепетный пиетет перед тайной мира и человеческого самосовершенствования вложить в свои творения, которые будут поддерживать огонь этой трепетности в душах следующих поколений. Вот так он исполнил свое предназначение.

Какое духовное наследие может оставить миру человек? По мнению Гёте, это наследие должно состоять не в умозрительных системах, а в откровенной исповеди, по которой потомки смогут судить о наших взглядах, мыслях, переживаниях

и желаниях. Из этого откровения они воспримут для себя то, что покажется им ценным и непреходящим. Гёте верен себе, когда вместо замкнутой философской системы оставляет исповедь о своих взглядах, которым он, при всем своем человеческом несовершенстве, пытался следовать в жизни.

Наивысшим проявлением величия мыслителя всегда будет единство его мыслей и его жизни. Именно это мы видим у Гёте. Потому что он, при определенном неприятии философии, в действительности и является настоящим мыслителем, влияние которого велико и благотворно. Ни один человек, прикоснувшись к его наследию, не уходит от него с пустыми руками, каждый берет у него что-нибудь для себя.

Гёте: человек и его дело
Доклад, прочитанный
в Аспене (Колорадо, США)
8 июля 1949 года

Мы собрались здесь, чтобы торжественно отметить предстоящее двухсотлетие со дня рождения Гёте. Так обратимся же мысленно к его творчеству, к его духовному складу и представим себе, что он для всех нас значит.

К моменту своей смерти Гёте был знаменит, но не пользовался всеобщим признанием. Его народ в то время еще не ощущал настоящей внутренней связи с ним и его творчеством. За рубежом некоторые круги восхищались им как создателем «Вертера» и «Фауста», не пытаясь глубже вникнуть в его мир.

О том, как на самом деле чтили память Гёте во Франкфурте прошлого века, красноречиво говорит тот факт, что в 1849 году торжества по поводу столетней годовщины со дня его рождения в его родном городе не состоялись, потому что для воодушевленных идеями революции 1848 года народных масс он — всего лишь бывший княжеский холоп, с которым они не хотят иметь ничего общего.

Сам он, убедившись, что после «Гёца фон Берлихингена» и «Вертера» уже ни одно из его произведений не имеет настоящего успеха, вынужден сделать вывод, что они не пользуются общим признанием. Эккерману, своему верному помощнику с 1823 года, он выражает свою уверенность в том, что они вообще никогда не получат признания.

Он заблуждался. Они получили признание. Со временем они нашли путь к сердцу читателей. Из всех поэтов он все больше и больше выделяется своей особой значимостью для людей, и не только у себя на родине.

В чем причина этого? В том, что он был и великим поэтом, и великим естествоиспытателем, и великим мыслителем, и великим человеком. Все эти яркие дарования, соединившись в одном человеке, прославили его и привлекли к нему всеобщее внимание как к выдающейся личности. И теперь наступающее в этом году двухсотлетие со дня его рождения празднуют во всем мире.

Гёте как поэт

В чем состоит необычайная притягательность его произведений?

Остановимся прежде всего на их языке.

Гёте — духовидец. Он говорит на языке образов, и эту особенность своего способа выражения он осознал еще в юности. Он владеет тайной живописания словом. Мы видим то, что он сам увидел и что старается показать и нам.

Другое своеобразие его стиля заключается в том, что он не пользуется языком поэтической патетики с ее звучной лексикой и бурными эпитетами, а говорит самым обыкновенным, простым языком, который умеет наполнить пафосом.

Еще одна особенность языка Гёте — его ритмика. Как правило, ритмика фраз у него не совпадает с размером стихотворной строки. Между ними существует напряжение. В этом отношении Гёте родствен Баху. Бах не увязывает сочиненные им темы с ритмом и с акцентом такта, а предоставляет им идти своим путем. У Гёте, благодаря внутренней независимости фраз от стихотворного размера, стихи производят впечатление прозы высшего рода, и это придает им удивительную естественность и изысканность.

С точки зрения содержания отличительной чертой произведений Гёте является то, что они передают переживания, которые испытывает лично он сам, и идеи, которые волнуют лично его. С юных лет он сознает, что все они — фрагменты его исповеди. Он не способен, подобно Шиллеру и другим писателям, выбирать тот или иной материал, погружаться в него и затем что-то из него лепить. Предпринимая такого рода попытки, он оказывается в чуждой стихии и чувствует себя, как лебедь, который вышел из воды и теперь неловкой походкой ковыляет по земле.

Произведения, написанные в этой манере: «Клавиго», «Стелла», «Великий жрец», «Гражданский генерал» и другие, а также его тексты к зингшпилям и

к операм, — несут на себе столь слабый отпечаток его личности, что возникает сомнение в их подлинности, хотя они и подписаны его именем.

Особое место в его творчестве занимает «Фауст». Целых шестьдесят лет жизни положил Гёте на то, чтобы освоить этот материал. Сюжет «Фауста» притягивает его, потому что в нем, как ни в каком другом, он видит отражение собственных переживаний и раздумий. Он — и Фауст, и Мефистофель одновременно, так как их устами высказывает мысли, мучающие его самого.

Сам по себе этот сюжет сопряжен с почти непреодолимыми трудностями, так как материал дошедшей до нас легенды досконально разработан. В полном соответствии с этой самой легендой Гёте вводит в свою трагедию эпизод любви Фауста к Елене, которая силой магии возвращается из подземного царства на землю; из легенды же заимствована и сцена при дворе императора, куда является Фауст и начинает вместе с Мефистофелем забавлять придворных разными трюками.

Одновременно, однако, для того чтобы идентифицировать легендарного Фауста с собою, ему приходится совершить насилие над материалом и ввести в трагедию эпизод с Гретхен, который никакого отношения к преданию не имеет.

Гёте заставляет Фауста почувствовать себя виноватым перед девушкой, которой причинил боль. Но, чувствуя свою вину, он все-таки будет не проклят, а спасен. И это еще одно насилие над сюжетом старой легенды, согласно которой Фауст

попадает в ад. Гёте заставляет Фауста испытывать чувство вины, потому что сам в Зезенхайме был виноват перед Фридерикой Брион, причинив ей боль, но и спасает его, потому что убежден, что и сам обрел прощение.

С необходимостью преодолевать все эти сложности, из-за которых он лишь незадолго до смерти завершит это начатое еще в юности произведение, ему приходится мириться, чтобы в образе Фауста вновь обрести себя, — чтобы эта драма стала фрагментом его исповеди.

Гёте как естествоиспытатель

Склонность к исследованию природы свойственна Гёте от рождения. В студенческие годы в Лейпциге и в Страсбурге он предпочитает общество тех, кто изучает естественные науки. В Страсбурге он начинает заниматься анатомией. Свое первое открытие он совершает в области сравнительной анатомии.

В тогдашней анатомической науке считалось не подлежащим сомнению, что имеющаяся у животных, в том числе и у обезьян, межчелюстная кость (*os intermaxillare*), расположенная между главными костями верхней челюсти и соединяющая их между собой, у человека отсутствует. В этом усматривали признак различия между человеком и остальными представителями типа позвоночных. Но Гёте кажется невероятным, что природа выделила человека среди прочих видов столь мелочным

образом. Он решает разобраться в этом вопросе. В результате предпринятых исследований он устанавливает, что межчелюстная кость действительно имеется и у человека, хотя она сохранилась лишь рудиментарно и срослась с лежащими по обе ее стороны главными костями верхней челюсти. В 1784 году Гёте сообщает о своем открытии. Постепенно анатомы приходят к признанию его правоты.

С ботаникой Гёте поначалу знакомится на практике: по долгу службы ему приходится заниматься сельским хозяйством и садоводством. Он начинает глубже интересоваться ботаникой, стремясь приобрести научные познания в этой области. Его занимает проблема многообразия растительных форм.

В 1788 году, на Сицилии, он решает эту проблему, создав теорию, согласно которой все органы растения развиваются из листа и представляют собой лишь его видоизменение. В 1790 году он публикует свое открытие. На сей раз уже ботаники с годами придут к признанию ценности вклада поэта в науку и отдадут должное его естественнонаучным исследованиям.

В 1790 году Гёте на основе принципа метаморфоза объясняет формирование черепа. Он выдвигает теорию, которая гласит, что череп представляет собой видоизмененные шейные позвонки. Несколько лет спустя анатомы и сами приходят к такому выводу. Но приоритет в этом открытии принадлежит Гёте.

В последующие годы много времени и сил он тратит на изучение развития скелета позвоночных. Основные положения его воззрений по этому вопросу содержатся в стихотворении «Метаморфоз животных», которое вышло в свет в 1819 году.

Под конец жизни ему довелось испытать чувство удовлетворения, когда знаменитый французский зоолог Жоффруа де Сент-Илер (1772—1844), отстаивая эволюционный принцип в своей полемике с создателем сравнительной анатомии Жоржем Кювье (1769—1832) во Французской академии в июле 1830 года, сослался на него как на первопроходца в этой области.

К научным исследованиям в области минералогии и геологии, как в случае с ботаникой, его подтолкнула практика. В 1777 году ему дают поручение восстановить в Ильменау рудник, где прежде добывали медь и серебро, пока прорвавшаяся вода не вывела его из строя. Гёте горячо принимается за дело.

Занимаясь минералогией и геологией, Гёте приходит к мысли, что хотя в формировании земной коры частично действительно участвовали вулканические процессы, все же главным фактором, которому она обязана своим происхождением, является медленное, непрерывное эволюционное развитие.

Гёте был, пожалуй, первым, кто теперешнее местоположение эрратических валунов связал с движением некогда покрывавших всю Европу глетчеров, которые перенесли их на эти места; морены он тоже считал результатом работы глетчеров.

Научный интерес Гёте к учению о цвете восходит к беседам о достижении цветового эффекта в живописи, которые он ведет в Риме со знакомыми художниками. Занимаясь исследованиями в области хроматики, он приходит к мысли об ошибочности теории, которую в 1704 году разработал Исаак Ньютон и согласно которой белый свет состоит из цветных лучей, так что его узкий пучок, будучи пропущен через призму, разлагается на эти цвета. Против этой теории Гёте выступает с собственной концепцией цвета, согласно которой цвет является не свойством разных световых лучей, а феноменом взаимодействия света и тьмы, черного и белого. Преобладание света дает желтый цвет, преобладание темноты — синий. Желтый и синий вместе образуют зеленый цвет. Красный находится между синим и желтым и представляет собой всего лишь их модификацию.

С 1791 года и до самой смерти борется Гёте за свое учение о цвете, публикуя один за другим ряд трактатов, написанных на основе целой череды интереснейших опытов. На эти опыты и публикации он потратил, пожалуй, больше времени и труда, нежели на все художественные произведения вместе взятые, включая прозу. Но развенчать теорию Ньютона ему не удалось. Последующие исследования Френеля, Максвелла и Лоренца в области природы света развили теорию Ньютона и подтвердили ее правильность.

Но все равно, даже если Гёте не был прав и не мог быть прав, его работы в области хроматики и

оптики явились выдающимся вкладом в науку. Его наблюдения и опыты ставят перед теорией Ньютона ряд вопросов, на которые она не всегда может дать удовлетворительный ответ. Поэтому все снова и снова появляются ученые, которые выступают на стороне Гёте и против Ньютона.

Любопытно, что разработанные в живописи теории взаимодействия цветов имеют много точек соприкосновения с теорией Гёте.

*

Своеобразие естественнонаучных взглядов Гёте заключается в том, что он придает значение исключительно лишь непосредственным наблюдениям. Аппаратуре, применяемой для наблюдений, он не придает значения. Он, конечно, не может не видеть преимуществ, которые дает использование микроскопа и телескопа, но тем не менее судит о них скептически: *«Микроскопы и телескопы, в сущности, лишь сбивают с толку девственный человеческий разум, тогда как человек, который может руководствоваться своим здравым разумением, уже сам по себе является мощнейшим и чувствительнейшим прибором, какие только могут существовать»*. Пользуясь сложными инструментами, считает он, мы подвергаем природу пытке, вымогая у нее таким образом показания, вместо того чтобы полюбовно убедить ее раскрыть нам свои тайны.

Не только аппаратуру, но и математику Гёте отвергает. По его мнению, математика может находить

применение лишь там, где речь идет о чисто механических проблемах. Но когда она пытается объяснить природные феномены, ее услуги оказываются весьма сомнительными.

Совсем иначе судит о математике Кант. Он говорит: «Я утверждаю, что в каждой отдельной отрасли естественных наук можно найти ровно столько настоящей науки, сколько она содержит математики».

И в самом деле, как выяснилось в дальнейшем, математика призвана играть в естествознании всё более важную роль. Иначе и быть не могло.

Как же приходит Гёте к мысли, что в изучении природы полезны лишь методы, которые в его время уже давно были пройденным этапом?

Отчасти причина в том, что математика для него — нечто такое, во что он не может вникнуть, потому как тут ему недостает таланта и систематического навыка, который приобретается смолоду. Поскольку работа с наблюдательной аппаратурой предполагает вычислительные операции, она ему так же неприятна, как и сама математика.

Но к этой причине присоединяется еще одна, более глубокая. Гёте убежден, что истинное познание природы является сугубо личным свершением человеческого духа, что оно не может быть безличным достижением. Он имеет в виду проникновение в самую сущность природы, которое коренится в непосредственном наблюдении. Для него *сущность* человека — это орган познания *сущности* природы.

Он часто высказывает этот свой взгляд на познание природы. Пожалуй, яснее всего он выражает

его в конце стихотворения о сравнительной остеологии, которое написал в 1819 году:

Радуйся ж ныне, создание высшее матери вечной!
Высшую мысль, до которой природа, творя, воспарила,
Ты угадал!

А в «Учении о цвете» говорится:

Не будь подобен солнцу глаз,
Не мог бы он узреть светило;
Не правь сама власть Божья в нас,
Чем Божество бы нас пленило?

Чувственное зрение должно быть дополнено духовным зрением, если мы хотим достичь истинного познания. Так, Гёте решительно утверждает: *«Не видя духовным оком, мы, словно слепцы, везде пробираемся ощупью, в особенности же в сфере изучения природы».*

Значение для Гёте имеет лишь это стихийное, добываемое посредством естественной наблюдательности человека познание природы. Через него человек достигает подлинно духовной связи с природой, и на этой связи строятся его взгляды и его образ жизни.

Поэтому Гёте выступает как представитель такого естествознания, которое может сделаться личным достоянием каждого человека, наделенного здоровыми органами чувств и здравым разумом. Поэтому он дерзает не признавать за наблюдательной аппаратурой и за математикой их значения в сфере естественных наук — в ту эпоху, когда это уже совершенно непозволительно.

Но при столь устаревшем подходе каким же все-таки титаном предстает перед нами Гёте-естествоиспытатель! Возникает ощущение, словно естествознание, пользуясь простейшими средствами, захотело через него еще раз продемонстрировать, на что оно способно. Не выходя за границы такого старомодного естествознания, он, благодаря своей замечательной наблюдательности, выводит ботанику и зоологию на широкую дорогу самого современного научного исследования.

Никогда еще ни в одной области науки и практики не являла история столь парадоксального сочетания устаревшего и передового.

Гёте как мыслитель

Каково же мировоззрение Гёте? Какую философию он исповедует?

Есть два вида философии: доктринерская и недоктринерская.

Доктринерская философия не исходит из исследования природы, а прилагает к природе то представление, которое сама составила о ней, и объясняет ее в соответствии с этим представлением. Это спекулятивная философия, которая разрабатывает системы.

Недоктринерская философия опирается на исследование природы и погружение в нее и стремится объяснить ее на основе все более обширных наблюдений и приобретенного опыта. Это натурфилософия.

Эти два философских течения сопутствуют друг другу на протяжении всей духовной истории человечества.

В античные времена представителями философии, создающей системы, были Платон и Аристотель. В Новое время эта философия достигает наивысшего расцвета в начале XIX века, когда творят современники Гёте — Фихте, Шеллинг, Гегель и Шопенгауэр.

Натурфилософия зарождается в Ионии — древнегреческой колонии в Малой Азии. Ее родоначальниками были Фалес, Анаксимандр, Гераклит, Эмпедокл. Истоки жизни и ее развитие они усматривают в материи.

В последующую эпоху появляются учения Эпикура и стоиков, которые по своей сути также являются натурфилософией, поскольку опираются на природу.

В эпоху Ренессанса, когда пробуждается новый интерес к природе, появляются попытки возродить натурфилософию; самой выдающейся из них является попытка Джордано Бруно. Эти попытки, однако, не смогли привести к созданию более глубоко продуманной натурфилософии, той, которая завоевала бы впоследствии всеобщее признание.

Стоическую натурфилософию возрождает Спиноза. Идеи Джордано Бруно и Спинозы оказывают сильное влияние на молодого Гёте. Он начинает заниматься естествознанием, а как мыслитель становится приверженцем научной натурфилософии — в те самые времена, когда великие философские

системы Фихте, Шеллинга и Гегеля заявляют о своих притязаниях на право называться полным и окончательным мировоззрением, которое удовлетворяет всем требованиям мышления.

Гёте знаком с трудами современных ему философов, как и вообще начитан в философии. Он обязал себя изучить Канта; и он садится к ногам Шиллера, знатока Кантовой философии, и экзаменуется у него в катехизисе Канта.

Фихте, Шеллинга и Гегеля он знает лично, благодаря ему все трое были приглашены в Йенский университет. Фихте читает там с 1794 по 1799 год, Шеллинг — с 1798 по 1803 год, а Гегель — с 1802 по 1807 год. Гёте, как мы узнаем из его дневников, слушает лекции Шеллинга, пренебрежительно отзывающегося об эмпирическом изучении природы, и старается проникнуться симпатией к Шеллинговой псевдонатурфилософии.

Но в конце концов, в результате всех своих усилий Гёте вынужден признать, что фактически ничего не нашел для себя ни в теории познания Канта, ни в системах Фихте, Шеллинга и Гегеля. Их мышление принадлежит иному миру и отлично от его мышления, ибо является привнесенным в природу, тогда как его мысль из природы исходит.

«Сам я, — пишет он однажды, — всегда относился к философии сдержанно; позиция здравого человеческого рассудка была и моей позицией».

Это высказывание дополняется еще одним: *«Долго занимались критикой разума; я хотел бы, чтобы была разработана критика человеческого рассудка. Было*

бы настоящим благодеянием для рода человеческого, если бы обыденный рассудок можно было заставить убедиться в том, что он способен объять ровно столько, сколько ему потребно для жизни на земле».

Стремления Гёте обращены, таким образом, к философии человеческого здравого смысла, глубоко и верно ориентированного.

Каким образом удастся отдельным лицам совершенно самостоятельно, путем собственных исканий и размышлений, обретать познание, позволяющее им находить правильный путь в жизни? Вот вопрос, который занимает Гёте.

По мнению Гёте, человеческое мышление находит правильный путь только в том случае, если оно строится на знаниях, почерпнутых из наблюдений над природой. Держаться реальности, чтобы достичь подлинной духовности, — таков девиз, который он провозглашает.

Самое главное открытие, которое делает каждый, кто созерцает природу, — это то, что в ней присутствуют, тесно сплетенные, оба начала: природное и духовное. Духовное начало воздействует на природное как формообразующая, упорядочивающая и совершенствующая сила. Оно уводит от хаоса и примитивности. Оно проявляет себя в анагенезе, который мы все наблюдаем.

Всматриваясь умственным взором в свою собственную природу, мы осознаем, что в нас тоже налицо сочетание природного с духовным, что мы принадлежим миру природы и должны довериться руководству духовного начала.

Таким образом, философия Гёте состоит в том, чтобы наблюдать материальные и духовные феномены природы, такой, как она существует вне нас и внутри нас, и делать выводы из своих наблюдений.

Духовное начало — это свет, противодействующий тьме природного начала. В этом противоборстве проходит всё совершающееся в мире, в нем протекает и жизнь человека.

Если Гёте с таким упорством отстаивает свое учение о цвете, то это потому, что, объясняя разные цвета как феномены взаимодействия света и тьмы, это учение связано с его пониманием совершающегося в природе.

Скромно выглядит познание, почерпнутое в натурфилософии глубоким и здравым человеческим рассудком, рядом с тотальным знанием, которым якобы обладают великие системы. Поскольку в распоряжении натурфилософии оказывается лишь неполное познание природы, она остается в незавершенном виде. Но натурфилософия — это сама правда, и потому она является ценностью в самом высоком смысле слова. *«Мудрость — это только истина»*, — говорит Гёте.

Собственный опыт, считает Гёте, позволяет ему утверждать одно: чтобы вести правильный образ жизни, достаточно познаний, которые дает натурфилософия, — при всей их неполноте. Он твердо уверен, что те, кто пойдет по указанному им простому пути мышления, достигнут всех благородных этических и религиозных убеждений, какие когда-либо были выработаны духовной историей

человечества, и овладеют ими в самом первозданном и чистом виде.

* *

Из каких же элементов складывается это натурфилософское мировоззрение?

Если говорить о сущности природы, то Гёте полагает, что в ней орудуют стихийные, темные силы, необузданная, исполинская мощь. Он называет их демоническим началом. Эти демонические силы он выводит в Вальпургиевой ночи и воплощает в образе Мефистофеля.

В истории их воплощением являются демонические личности. В «Поэзии и правде» Гёте описывает таких людей; они отнюдь не всегда бывают выдающимися личностями — ни по уму, ни по таланту, редко отличаются сердечной добротой, но от них исходит могучая притягательная сила. И массы тянутся к ним.

По мнению Гёте, Кант глубоко ошибается, не принимая в расчет существования демонического начала. *«Кантовский императив, — пишет он, — автоматически и автократически предполагает, что у людей не могут возникнуть и тем более побеждать страсти. Но ведь мы видим, как часто люди оказываются во власти каких-то незримых сил, которым они не могут противостоять, которые управляют ими, и часто их пристрастия и поступки кажутся произвольными, словно они исходят из сферы, не подчиняющейся никакому закону».*

Не всегда демоническое неизбежно порождает зло. В определенных обстоятельствах оно может творить и добро.

«Гигантские первозданные силы, извечные или развивающиеся с течением времени, действуют неостановимо, во благо ли, во вред ли — это зависит от случая».

Во всех судьбоносных событиях, в малом, как и в большом, Гёте угадывает манифестацию демонического — то доброго свойства, то дурного. *«При моем знакомстве с Шиллером, — замечает он как-то раз в разговоре с Эккерманом, — несомненно имело место нечто демоническое».*

В 1831 году, беседуя с Эккерманом о предстоящем новом издании трактата о метаморфозе растений, Гёте замечает: *«Все-таки эта книга требует от меня больше труда, чем я думал; к тому же вначале я пошел на эту затею почти что против воли, но меня вело нечто демоническое, чему я не в состоянии был противиться».* В доверительной беседе со своим верным помощником он говорит, что в связи с задержкой окончательной подготовки нового издания этого труда *«созрели обстоятельства... влекущие работу к своему завершению, о чем год назад нельзя было и помышлять».* *«Такое, — добавляет он, — не раз случалось со мной в жизни, и в подобных случаях невольно начинаешь верить в действие высших сил, во что-то демоническое, чему покоряешься, не дерзая искать этому объяснений».*

Так мы все снова и снова встречаем у Гёте мысль о господстве демонического начала.

Нечто изначально-природное, демоническое, что от рождения несет в себе каждый человек, определяет

его судьбу. Человеку не дано избавиться от этого фатального начала. Об этом сказано в «Максимах и размышлениях»: «*Что твое, от того не избавишься, хоть выбрось*».

Представление Гёте о демоническом в человеке отличается от сократовского. У Сократа живущий в человеке демон — это самостоятельное, отличное от него сверхъестественное духовное существо, подсказывающее ему мысли и руководящее его поступками. У Гёте демоническое — это необузданное начало космических масштабов, противящаяся голосу разума природная сила, которая присутствует и в человеке. В его натурфилософском представлении о демоническом содержатся еще отголоски христианского восприятия, для которого демоническое начало равнозначно богоборческому.

Всю жизнь бьется Гёте над проблемой судьбы и свободы, искать решение которой предначертано и каждому из нас.

В своем полном безысходной горечи романе «Избирательное сродство» он выводит двух мужчин и двух женщин, чья жизнь предопределена роковой любовью, которой они должны, но не могут противостоять.

Вообще же Гёте убежден, что в какой-то мере мы способны одолеть судьбу своим отношением к тому, что она нам преподносит. 18 марта 1831 года в разговоре с Эккерманом он замечает, что мы находимся в положении игрока, который, после того как брошен жребий, начинает делать на доске ходы фигурами. Жребий решает многое. Но в то

же время исход партии зависит и от того, насколько умно делает свои ходы игрок.

Он считает, что надо стараться устоять в борьбе против демонического.

Тяжкие переживания в нашей жизни, откуда бы они ни исходили, по Гёте, абсолютно необходимы для нашего внутреннего совершенствования. Так, в романе «Вильгельм Мейстер» арфист поет:

Кто со слезами пополам
Не ел ломоть постылый хлеба,
Во тьму вперяясь по ночам, —
Тот вас не знает, силы неба!

* * *

Следуя зову духовного начала, человек должен бороться за обретение истинной человечности, чтобы стать таким, каким ему назначено быть по его сути.

По Гёте, истинная человечность зиждется на двух незыблемых идеалах — на чистоте и на доброте.

Идеал чистоты вырабатывается у Гёте в результате юношеского борения с самим собой, через которое он проходит в первые годы веймарского периода. По его мнению, человек, чтобы обрести чистоту, должен изжить в себе лицемерие, хитрость, лживость, несдержанность и стать искренним.

Этот идеал чистоты провозглашается в его драмах «Ифигения» и «Торквато Тассо».

Ифигения не может решиться спасти Ореста, Пилада и самое себя ценой лжи и коварства, прибегнуть к которым ее, казалось бы, вынуждает безысходность положения. Рискуя жизнью, она остается правдивой, и это заставляет дрогнуть сердце короля варваров, который отпускает с миром всех троих. Сохранив благодаря своей правдивости чистоту, жрица обретает способность снять проклятие с оскверненного убийством родительского дома. Поэтому драма об Ифигении является одним из самых сильных шедевров литературы, и еще не одно поколение читателей будет, погружаясь в нее, все снова и снова испытывать глубокое потрясение.

Великий поэт Тассо не в силах преодолеть необузданность своего характера, навлекает этим страдания на тех, кто его любит, и ввергает в несчастье себя самого.

Наивысшим проявлением духовного в нас является любовь. Она вносит упорядоченность в хаос отношений между отдельной личностью и остальными людьми. Без доброты человек не может быть человеком в полном смысле слова. Если он правильно воспринимает самого себя, он не может действовать иначе, как руководствуясь добротой.

В природе он ее не найдет. Доброта воплощает божественное начало в его душе. Гимн, в котором Гёте прославляет подлинную человечность, носит заголовок «Божественное». Он начинается строфами:

Благороден будь,
Скор на помощь и добр.
Ибо это одно
Отличает тебя
От всех творений
Тебе известных.

Слава неведомым
Высшим, которых
Сердце чает.

Им уподобься ты сам.

А вот что говорит Гёте о любви:

И любовь, и страсть прейдет, минует —
Только милость вечно торжествует.

Если только есть на свете чудо,
Чудо — в чистых, любящих сердцах.

«Чужим великим достоинствам противостоять возможно одним лишь спасительным средством — любовью».

«Существует вежливость сердца. Она сродни любви».

* * *

Нельзя не обратить внимания на одно удивительное обстоятельство. Гёте не интересуется тот факт, что живые существа, стоящие на более низкой ступени эволюции, нежели человек, уже обладают способностью испытывать этические чувства, которые проявляются в их самоотверженной заботе о своем потомстве и в других особенностях поведения.

Гёте вообще не ощущает внутренней связи с этими существами. Его интересует их анатомическое, а не духовное развитие.

Следует заметить, что этике Гёте чужд всякий энтузиазм, в отличие, например, от этики его современника, английского моралиста Иеремии Бен-тама, который был на несколько недель старше Гёте и умер в один год с ним. Бентам призывает людей, не щадя никаких сил, добиваться максимально возможного благополучия для максимально возможного числа людей. В этом утилитарном принципе Гёте столь же мало согласен видеть основной этический принцип, сколь и в категорическом императиве Канта. Он бранит Бентама старым глупцом за то, что тот предъявляет подобные требования к индивиду, которого он хочет обязать *«согласовывать свою сугубо личную жизнь с высшим благом большинства»*.

Поступать этически каждый должен согласно своему внутреннему чувству и своей внутренней потребности. *«Делать добро исключительно из любви к добру»*, — читаем у Гёте.

Каждому человеку назначено действовать соответственно его индивидуальной сущности и его жизненным обстоятельствам. Он должен совершенствовать те особые задатки добра, которые свойственны именно ему. Если появится много людей, каждый из которых осуществит заложенное в нем добро, то максимальное благополучие всего общества будет достигнуто скорее и естественнее, чем если бы все эти люди превратились в рабов общего для всех принципа полезности.

Наша жизнь и наши размышления ведут нас к пониманию того, какое служение назначено каждому из нас как в малом, так и в большом. В великом романе Гёте «Годы странствий Вильгельма Мейстера» переживания и размышления привели главного героя к решению взять на себя обязанности лекаря и оказывать врачебную помощь переселенцам.

Гётевское мировоззрение включает в себя и идею спасения. Гёте убежден, что ни один человек, какой бы виной он ни отяготил свою душу, не должен отчаиваться.

Милость искупления вины через служение заведомо дарована человеку.

Тема прощения, возвещенная уже в «Ифигении», звучит в следующих относящихся к 1827 году словах Гёте:

Все невольные паденья
Человечность искупит.

Это мировоззрение люди должны подкреплять делом. Чисто созерцательный образ жизни Гёте считает губительным заблуждением. Эта позиция приводит его к тому, что он совершает насилие над текстом Евангелия, когда Фауст переводит первый стих Евангелия от Иоанна «В начале было Слово» («Логос» по-гречески) фразой «В начале было Дело».

Гёте не перестает воздавать хвалу делу как чему-то настоящему и благословенному.

«Отведенная человеческому разуму область и удел его — дело и действие. Будучи активным, он редко ошибается».

«Благо человека — в постоянном внутреннем стремлении каждодневного труда, неразрывно связанного с размышлением...»

«Мысль и дело, дело и мысль — вот слагаемые всякой мудрости, давным-давно признанные, издавна практикуемые, не каждым осмысленные».

Будь любовь — твое стремление,
Жизнь твоя — любовь к трудам.

Но что такое долг? На это Гёте отвечает: «Требование дня». Надо внимательно вглядываться в окружающий мир, чтобы определить, в чем состоят наши первейшие обязанности, и взять их на себя. Тогда мы станем людьми, наделенными способностью правильно видеть то, что нам надлежит совершить в дальнейшем.

«Одаренный жизненной энергией ум, который ради практических целей стремится решить ближайшую задачу, — вот самое прекрасное на земле».

Волю каждого дня спросить надлежит.
Пусть он укажет, что он волит.
Радуйся делу доли твоей,
Цени работу других людей.
Ненависть к ближнему не питай.
В прочем — править Господу дай.

Себе будь верен — и другим.

Как обстоит дело с религиозными убеждениями Гёте? Они идентичны его мировоззрению. Ведь его мировоззрение само по себе является этическим и религиозным. Иисус Христос, возвещая божественную любовь и будучи ее воплощением, по Гёте, делает не что иное, как открывает нам, к чему устремлено и куда ведет нас наше мышление.

Истинная религия состоит для Гёте не в догмах об Иисусе-человеке и его деяниях. Она представляет собой возвещенную Иисусом Христом религию любви. Таково знание, к которому пришел религиозный рационализм в эпоху Просвещения. Гёте воспринял это знание.

Он следует этому знанию уже в Лейпциге, будучи совсем юным студентом. Об этом свидетельствует одна история. Однажды утром, находясь в доме гравера Штока, Гёте-студент сидит в общей комнате и упражняется в гравировании. В той же комнате домашний учитель двух дочерей Штока, Доротеи и Марии, дает им урок Закона Божия и велит читать вслух отрывок из Книги Есфирь. Но вдруг молодой студент резко обрушивается на учителя с упреками, что тот заставляет детей читать такие истории, сам берет в руки Библию, открывает Нагорную проповедь и говорит Доротее: «Вот это прочти нам, это Нагорная проповедь, а мы все послушаем тебя». Так как взволнованная девочка не в состоянии читать, Гёте делает это за нее, вставляя свои комментарии.

В появившемся в 1773 году юношеском сочинении Гёте, написанном в форме письма свободомыслящего священника своему коллеге, встречаем фразу: *«Единственным основанием своего блаженства я считаю веру в божественную любовь, которая много сотен лет назад недолгое время странствовала по крохотному клочку земли в виде человека по имени Иисус Христос».*

Поскольку любовь является для Гёте высшей формой духовности, Бог как средоточие всего духовного может мыслиться им только как полнота любви.

То, что Гёте иногда, особенно в первые годы после поездки в Италию, называет себя язычником, отнюдь не означает, что он стал безбожником. Этим он хочет лишь сказать, что он привержен не религиозным догмам христианства, а этической религии, которая открылась ему в мышлении и которая совместима с естествознанием.

От глашатаев и проповедников религии он требует, чтобы они считали своим долгом все дальше уводить верующих от традиционных догматических представлений, приобщая их к облагороженной, чистой религии, которая позволяет человеку быть набожным, сохраняя правдивость.

Главный упрек, который Гёте бросает догматическому христианству, состоит в том, что оно представляет Бога существующим вне природы, тогда как, по Гёте, Он присутствует в ней и покоится в ней. Гёте упорно придерживается постулата идентичности Бога и природы, выраженного формулой Спинозы «Deus sive natura» («Бог, или природа»),

потому что только представление о Боге как о духовном начале, проявляющемся в природе и в нас, он считает истинным и позволяющим набожному человеку быть правдивым.

Горькое разочарование испытывает Гёте, когда Фридрих Генрих Якоби, некогда разделявший его восторженное увлечение Спинозой, в своем опубликованном в 1811 году письме «О божественных вещах и их откровении» отмежевывается от общего для них обоих представления о Боге и выражает убеждение, что Бог не являет себя в природе. *«Неужели, — пишет Гёте в «Анналах» за 1811 год, — при исповедуемом мною исконном мировоззрении, чистом и глубоком, настойчиво учившем меня видеть Бога в природе и природу в Боге, каковое представление составило основу всей моей жизни, — неужели это странное, одностороннее суждение навсегда лишит меня духовной близости с благороднейшим человеком, чье сердце я так любил и почитал!»*

Возражая Якоби, Гёте излагает свое представление о Боге в следующих стихах:

Что был бы Бог, когда б громаду тел
Извне толкал, вокруг пальца твердь вертел?
Ему пристало внутри мира деять,
В себе природу, в ней себя лелеять,
Всё, что живет, стремится, пребывает,
Ни сил своих, ни духа не лишая.

В предпоследней строке он повторяет слова апостола Павла «ибо в Нем мы живем и творим и находимся», взятые из его речи о Боге, которую,

согласно Деяниям апостолов (гл. 17, ст. 16–34), он произнес о Боге перед ареопагом в Афинах и поводом для которой послужил алтарь, посвященный «неведомому Богу».

Довод, что этот пантеизм, казалось бы, исключает представление о Боге как о личности, в отношении Гёте оказывается несостоятелен. Гёте считает, что духовное начало каким-то непостижимым для нас образом равнозначно личности.

Гёте полностью согласен с Гердером, просвещающим его сына Августа в вопросах религии — в виду предстоящей тому конфирмации. Гердер доводит до сознания мальчика, что для естественного состояния людей характерно взаимопереплетение и противоборство в них света и тьмы, добра и зла, и что христианская религия ставит их перед вопросом, хотят ли они принадлежать мраку или отдать себя служению свету, который пришел в мир через Иисуса Христа. В дополнение к этой мысли он развивает перед мальчиком идею о беспомощности человека с вытекающей отсюда необходимостью спасения через божественную любовь.

В беседе с Эккерманом 11 марта 1832 года, то есть незадолго до смерти, Гёте высказывается о христианстве следующим образом: *«К каким бы высотам ни вел непрерывный прогресс духовной культуры, какой бы степени развития ни достигло непрерывно вглубь и вширь растущее естествознание, человеческому духу, как бы далеко он ни продвинулся, не превзойти высоты и нравственной культуры христианства, того, что ярким светом сияет в Евангелиях».*

Значение Реформации он оценивает очень высоко. *«Мы даже не знаем, — замечает он однажды, — чем мы обязаны Лютеру и Реформации. Мы освободились от оков духовной ограниченности; благодаря росту нашей культуры мы обрели способность вернуться к истокам и постичь христианство в его чистом виде».*

Что касается вопроса бессмертия, то Гёте признается: *«Я твердо убежден, что дух есть сущность, природа которой абсолютно неразрушима».*

Гёте склоняется к предположению, что непреходящее в нас призвано вершить некие новые деяния в этом или в иных мирах. Но он считает, что высказывать суждения о вещах, лежащих по ту сторону горизонта наших познаний, не продуктивно и что лучше бы оставить мысленно в покое мир иной и озаботиться тем, чтобы наилучшим образом осуществить свое пребывание в этом.

Не один раз он повторяет, что о самых главных вопросах, которые встают перед нами, он может говорить только с Богом.

Свои мысли о границах нашего познания он подытоживает в следующих словах: *«Величайшее счастье мыслящего человека в том, чтобы постигнуть постижимое и молча чтить непостижимое».*

Со всей энергией ополчается Гёте против тенденции во имя религии пренебрегать познаниями, которых человек способен достичь при помощи исследований и размышлений. *«Не стоило бы жить до семидесяти лет, если бы вся мудрость мира выглядела в глазах Господа как глупость»*, — утверждает он.

Суть его мировоззрения и его религиозных убеждений сформулирована следующими удивительными словами:

«Очень тих голос Бога в нашем сердце; очень тихо, очень внятно говорит он нам о том, к чему надо стремиться и чего бежать».

«Превыше всех добродетелей одна: постоянная устремленность ввысь, борьба с самим собой, неутолимая жажда все большей чистоты, мудрости, доброты, любви».

*

Таковы основные черты философии Гёте. При его жизни она осталась практически не замечена, словно слабое деревцо, затененное могучими философскими системами. Но в середине XIX века все эти умозрительные системы рушатся, так как не могут устоять под напором естествознания. А деревцо продолжает жить. Избавившись от чужой тени, оно крепнет и растет. Философия Гёте, которую он сам изложил лишь фрагментарно, не представив в виде системы, приобретает все большее значение. Этому типу мышления никакое естествознание не может причинить вреда, ибо оно ориентировано на естествознание.

Философия Гёте являет тот мыслительный склад, которому принадлежит будущее. Все больше приходится нам свыкаться с тем, что наше познание мира останется незавершенным, и, стало быть, это же относится и к нашему мышлению. Гёте сознавал

это. Он пытался выяснить на опыте, может ли человек, исходя из действительности, никогда не отступая от нее, никогда не изменяя правде, в результате своих исследований и размышлений обрести убеждения, которые позволят ему реализовать свое бытие как духовному существу. Гёте уверен, что ожидания его не обманут. Итог своих раздумий о мире и о себе он представляет нам как опыт пережитого, завещая нам еще раз проверить его и еще раз пережить. Его изречения, полные глубочайшей жизненной мудрости, служат примером не имеющего себе равных духовного сокровища, какое только может один человек оставить в наследство людям.

Гёте как человек

И, наконец, последний вопрос. Подкрепляются ли мысли, которыми делится с нами Гёте, также и авторитетом его личности? Что можно сказать об этой личности?

Поводов для критики Гёте более чем достаточно. У него было множество недостатков, а в его характере и поведении многое отталкивало и неприятно поражало. Так, например, нам непонятно, почему он, живя в супружестве в Кристианой Вульпиус долгие годы, лишь через 18 лет вступает с ней в законный брак и дает ей положение в обществе, которое фактически ей уже и так принадлежит. Как могло случиться, что он заставил себя и, в особенности, ее длительное время терпеть столь

сложное и унижительное положение? Откуда такая странная нерешительность — в этом и еще во многих и многих случаях?

В его манере вести себя вообще очень много неестественного. После кончины его друга и повелителя герцога Карла-Августа он, вместо того чтобы проводить его в последний путь, как это подобает первому министру, испрашивает у его сына позволения не принимать участия в траурной церемонии, ссылаясь на то, что в тиши одиночества ему будет легче справиться с болью перенесенной утраты. Даже в сочинении некролога он не участвует.

И почему он, чьи чувства так горячи, во многих случаях напускает на себя холодность? Почему он порой так и сыплет саркастическими замечаниями, словно сам Мефистофель говорит его устами?

Но довольно перечислять странные особенности его натуры.

Что он сам думает о себе?

В письме от 1775 года Гёте пишет, что в нем сошлись все *«противоречия, какие только могут быть свойственны человеческой природе»*. В «Поэзии и правде», рассуждая о себе, он пишет, что по своей природе он человек, которого постоянно бросает из одной крайности в другую, у которого то и дело безудержная веселость переходит в крайнюю ипохондрию, и что при его характере и образе мыслей одно умонастроение способно в любой момент поглотить или отторгнуть другое. В его письме от 1780 года читаем: *«Я, как всегда, размышляющее безрассудство и горячая холодность»*.

В 1813 году в письме к Кристиану Шлёссеру, племяннику своего зятя Шлёссера, стареющий Гёте пишет: *«Почему бы не признаться самому себе, что я все больше становлюсь одним из тех людей, в которых быть хочется, но вместе с которыми пребывать мало приятно».*

Так что Гёте — отнюдь не гармоничная и отнюдь не идеальная личность. И все-таки те его современники, которые были хорошо знакомы с ним, отзываются о нем с восхищением. Так, Кнебель, который в Веймаре жил вместе с ним, пишет в Цюрих теологу Лафатеру: «Я прекрасно знаю: он не во всякое время бывает дружелюбен, у него есть неприятные черты, я их хорошо почувствовал на себе. Но все его качества вместе взятые говорят о том, что он бесконечно прекрасный человек. В нем поражает всё, даже его доброта».

Шиллер в 1800 году пишет графине Шиммельман: «Меня привязывают к нему вовсе не высокие достоинства его ума. Если бы он как человек не обладал для меня высочайшей ценностью, превосходя в этом всех, кого я когда-либо знал лично, я восхищался бы его гением издали».

Юнг-Штилинг, который был дружен с Гёте еще со страсбургских времен, сказал о нем замечательные слова: «Его сердце, которое знали лишь немногие, было таким же большим, как и его ум, который знали все».

И мы, кому многочисленные свидетельства, оставленные им самим и другими людьми, дают возможность изучить жизнь этого человека, как ни

одного другого выдающегося человека прошлого, не можем не увидеть в нем крупную, глубокую, вызывающую чувство благоговения и при всем ее своеобразии достойную любви личность.

Что замечаешь прежде всего при встрече с Гёте, так это глубочайшая серьезность, которая была свойственна ему с ранней юности. Это основная черта его существа.

С глубокой серьезностью он работает над собой всю жизнь до самой старости.

Ему приходится усмирять свой безудержный нрав, который в любую минуту грозит вырваться на волю. Уже в Лейпциге проявляют себя обе стороны его натуры: неумная пылкость во всем и стремление владеть собой. Эту особенность его характера подчеркивает и Кестнер в своей заметке, написанной в 1772 году в Вецларе, в которой он дает подробный и интересный портрет Гёте.

В Веймаре Гёте работает над собой, преследуя цель достичь умения полностью владеть собой. Об этом говорят различные испытания, которым он себя подвергает и о которых пишет в то время в дневнике. *«Пусть все ярче разгорается во мне идеал чистоты»*, — молит он.

Он говорит о пережитом, когда в 35 лет в стихотворении «Тайны» провозглашает:

От тяжелой власти, всех людей увившей,
Свободен — сам себя лишь победивший.

В другом стихотворении он следующими словами выражает мысль о преодолении себя:

Тот дар, что нам несет любовь,
Тягчайшей жертвою оплачен.
Но совладавшему с собой
Завидный жребий предназначен.

Из-за постоянного самоконтроля и стремления сдерживать себя в его манере поведения появляются некоторая деланность и скованность, что можно было принять за холодность и высокомерие. Выражение величественности в его больших, чудесных глазах и строгие черты лица, унаследованные от Тексторов через бабушку по материнской линии, довершают портрет олимпийца, каким он казался многим своим посетителям, но кем на самом деле он не был.

Когда он чувствует, что гостя привело к нему простое любопытство, у него не возникает желания скинуть с себя маску официальности и сухости.

Если же оказывается, что он видит перед собой человека, с которым стоит поговорить или который чем-то пробуждает интерес к себе, его сдержанность исчезает, и олимпиец преобразуется в приветливого и участливого человека.

Один из тех, кому довелось это испытать, австрийский драматург Грильпарцер передает свое впечатление от старого Гёте прекрасными и правдивыми словами: «Он имел наполовину царственный, наполовину отеческий облик».

«Олимпиец, царящий над мирозданием» — эта характеристика Гёте идет от сатирика Жан-Поля, который с 1798 по 1800 год жил в Веймаре и к

которому не испытывали симпатии ни Гёте, ни Шиллер.

Тонкую зарисовку сдержанности и открытости Гёте находим у Эккермана в предисловии к третьей части его «Разговоров с Гёте»: «Он отличался большой сдержанностью, пожалуй, это даже было яркой особенностью его природы... Но именно из-за этого качества он нередко скованно и очень осторожно выражал свои мысли как в ряде своих сочинений, так и в устных высказываниях. Но в те счастливые моменты, когда в нем просыпался и захватывал над ним безраздельную власть могучий демон, — тогда самообладание его покидало, и его речь лилась по-юношески стремительно, подобно потоку, низвергающемуся с горных вершин. В такие минуты он открывал перед собеседником все самое великое и прекрасное, что было скрыто в его душе».

Наряду с глубокой серьезностью основной чертой характера Гёте является правдивость. 12 февраля 1776 года он пишет Лафатеру, что хочет быть правдивым, как природа. Во всем, и в повседневном общении с людьми тоже, он старается быть правдивым до конца, даже если для этого приходится поступаться вежливостью. Благодаря своей искренности и правдивости он чужд всякому интриганству. Незнакомо ему и чувство зависти. Ко всем этим качествам добавляется врожденная изысканность ума.

Что касается чувства юмора, то Гёте ценит уместную и беззлобную шутку и сам ее не чурается. Но

юмор, который сделался постоянным состоянием ума, который всегда и во всем выискивает смешное и превращается в сатиру, он считает глупой и недостойной игрой. Только скептик, полагает он, способен так играть с вещами. *«Но тот, для кого жизнь до горечи серьезна, не может быть юмористом».*

Вообще все сколько-нибудь гротескное вызывает у Гёте непреодолимую неприязнь.

Резкие и язвительные суждения не в его духе. *«Я не знаю таких ошибок, каких не совершил бы сам»*, — замечает он однажды.

В прелестных стихах, идущих от самого сердца, он говорит о своей неспособности презирать людей:

Чёрт побери весь род людской!
До бешенства доводят!
Что ж, решено: отныне я
Ни с кем не буду знатья.
Над этим людом пусть он сам,
Иль Бог, иль чёрт пекутся.
Но вижу чье-нибудь лицо —
И вновь его люблю.

К характерным чертам Гёте относится также смирение. *«Все пути открываются мне, потому что я иду в смирении»*, — пишет он Гердеру из Рима 31 января 1797 года.

Когда ему встречаются солидные знания и воля, он приказывает живущей в нем самоуверенности замолчать. Тогда все его помыслы устремляются к

тому, чтобы отдать дань мастерству и учиться у него. Так он относится к художникам в Риме, так относится он и к Шиллеру, и к ученым, которые помогают ему в освоении естественных наук. Влиянию Шиллера он отдается почти непостижимым образом.

А какое смирение он вообще проявляет в общении с людьми!

До нас дошло множество свидетельств его доброты. Мы знаем о бедняках, которых он щедро поддерживал в течение долгого времени.

Одному из своих подопечных, который благодарит его за помощь, он отвечает 23 ноября 1778 года: *«Вы для меня не обуза, напротив, это учит меня управлять хозяйством; я трачу на пустяки немалую часть моих доходов, которую мог бы сэкономить для тех, кто терпит нужду. Ведь не думаете же Вы, что Ваши слезы и Ваше благословение ничего не стоят?»*

От его врача Фогеля мы узнаем, что Гёте давал ему средства для поддержания нуждающихся пациентов.

За многих людей Гёте хлопотал и, не жалея ни сил, ни времени, помогал им чем мог, если чувствовал себя призванным исполнить по отношению к ним долг любви к ближнему.

Будучи министром, он делал все, что было в его силах, для того чтобы добиться улучшения в положении бедствующей части населения.

В нем жила глубокая потребность в служении. Он не уходит ни от одной выпавшей на его долю обязанности, ни от одной принятой на себя

ответственности. Самую малую задачу он выполняет с величайшей добросовестностью. Он всегда идет до предела своих возможностей.

И все эти качества, составляющие его сущность, соединяются в единое целое и обретают силу благодаря его стремлению к совершенству, к совершенствованию себя — стремлению, которое едва ли проявлялось с равной силой и постоянством у кого-либо еще из достойных нашего внимания великих людей.

* * *

Такова личность поэта, естествоиспытателя, мыслителя и человека, чью память мы чтим сегодня. Очень многие здесь и вдали отсюда, отдавая дань памяти великому гению Гёте, не забудут сказать ему при этом слова благодарности за то, что дала им его неподдельная и глубокая религиозно-этическая жизненная мудрость.

Содержание

Четыре речи о Гёте

Франкфурт-на-Майне, 28 августа 1928 г.	7
Франкфурт-на-Майне, 22 марта 1932 г.	21
Гёте как мыслитель и человек	
Ульм, июль 1932 г.	63
Гёте: человек и его дело	
Аспен, 8 июля 1949 г.	83

АЛЬБЕРТ ШВЕЙЦЕР
ЧЕТЫРЕ РЕЧИ О ГЁТЕ

Оформление художника *М. Ю. Заборовской*
Верстка *И. В. Смирновой*

Издательство имени Н. И. Новикова
190121, Санкт-Петербург, а/я 213
тел./факс: (812) 714-22-93
novikoff_verlag@mail.ru

Подписано в печать 02.10.2005. Гарнитура Garamond.
Формат 84×100 1/2. Печать офсетная. Заказ 1362.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Издательско-полиграфическое
предприятие „Искусство России“»
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 38, корп. 2